

Рождественские истории

Книги Вилли Винки

Рождественские истории

Эрнст Теодор Амадей Гофман, Александр Степанович Грин, О. Генри, Александр Иванович Куприн, Джером Клапка Джером, Аркадий Тимофеевич Аверченко, Аркадий Петрович Гайдар, Софья Андреевна Толстая, Сельма Лагерлёф, Федор Михайлович Достоевский, Ганс Христиан Андерсен, Лидия Алексеевна Чарская

Аннотация
Рождественские истории
Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и мышиный король (отрывок)
О. Генри. Дары волхвов
Джером Клапка Джером. Встреча автора с ангелом
Сельма Лагерлёф. Святая ночь
Ханс Кристиан Андерсен. Девочка со спичками
Александр Куприн. Бедный принц
Александр Грин. Новогодний праздник отца и маленькой дочери

Фёдор Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке
Софья Толстая. Куколки – скелетцы
Лидия Чарская. Ёлка через сто лет
Два сочельника
Аркадий Аверченко. Рождественский день у Киндяковых
Продувной мальчишка
Аркадий Гайдар. Чук и Гек

Аннотация

Рождество и Новый год – светлые праздники, которые дарят людям радость, любовь и тепло. Вся семья собирается вместе, дома царят уют и гармония. Не только дети, но и взрослые ждут чуда…

В этом сборнике объединены произведения русских и иностранных классиков: Э. Т. А. Гофмана, О. Генри, Л. Чарской, А. Аверченко… Вместе с героями рассказов читатели почувствуют атмосферу волшебства и праздника, а их души наполнятся надеждой и милосердием.

Для среднего школьного возраста.

Рождественские истории

© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Эрнст Теодор Амадей Гофман. Щелкунчик и мышиный король (отрывок)



Сочельник

Целый день двадцать четвёртого декабря детям советника медицины Штальбаума было запрещено входить в гостиную, а также в соседнюю с нею комнату.

С наступлением сумерек дети, Мари и Фриц, сидели в тёмном уголке детской и, по правде сказать, немного боялись окружавшей их темноты, так как в этот день в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочельник. Фриц под величайшим секретом рассказал своей маленькой семилетней сестре, что уже с самого утра слышал он в запертых комнатах беготню, шум и тихие разговоры. Он видел также, как с наступлением сумерек туда потихоньку прокрался маленький закутанный человек с ящиком в руках, но что он, впрочем, наверное знает, что это был их крёстный Дроссельмейер.

Услышав это, маленькая Мари радостно захлопала ручонками и воскликнула:

— Ах, я думаю, что крёстный подарит нам что-нибудь очень интересное.

Друг дома советник Дроссельмейер был очень некрасив собой; это был маленький, сухощавый старичок, с множеством морщин на лице; вместо правого глаза был у него налеплен большой чёрный пластырь; волос у крёстного не было, и он носил маленький белый парик, удивительно хорошо сделанный. Но, несмотря на это, все очень любили крёстного за то, что он был великий искусник, и не только умел чинить часы, но даже

сам их делал. Когда какие-нибудь из прекрасных часов в доме Штальбаума ломались и не хотели идти, крёстный приходил, снимал свой парик и жёлтый сюртук, надевал синий передник и начинал копаться в часах какими-то острыми палочками, так что маленькой Мари даже становилось их жалко. Но крёстный знал, что вреда он часам не причинит, а наоборот, — и часы через некоторое время оживали и начинали опять весело ходить, бить и постукивать, так что все окружающие, глядя на них, только радовались. Крёстный каждый раз, когда приходил в гости, непременно приносил в кармане какой-нибудь подарок детям: то куколку, которая кланялась и мигала глазками, то коробочку, из которой выскакивала птичка, — словом, что-нибудь в этом роде.

Но к Рождеству приготавливал он всегда какую-нибудь большую, особенно затейливую игрушку, над которой очень долго трудился, так что родители, показав её детям, потом всегда бережно прятали её в шкаф.

— Ах, как бы узнать, что смастерит нам на этот раз крестный? — повторила маленькая Мари.

Фриц уверял, что крёстный, наверно, подарит в этот раз большую крепость с прекрасными солда-

тами, которые будут маршировать, обучаться, а потом придут неприятельские солдаты и захотят её взять, но солдаты в крепости станут храбро защищаться и начнут громко стрелять из пушек.

— Нет, нет, — сказала Маша, — крёстный обещал мне сделать большой сад с прудом, на котором будут плавать белые лебеди с золотыми ленточками на шейках и петь песенки, а потом придёт к пруду маленькая девочка и станет кормить лебедей конфетами.

— Лебеди конфет не едят, — перебил Фриц, — да и как может крёстный сделать целый сад? Да и какой толк нам от его игрушек, если у нас их сейчас же отбирают; то ли дело игрушки, которые дарят папа и мама! Они остаются у нас, и мы можем делать с ними, что хотим.

Тут дети начали рассуждать и придумывать, что бы могли подарить им сегодня. Мари говорила, что любимая её кукла, мамзель Трудхен, стала с некоторого времени совсем неуклюжей, беспрестанно валится на пол, так что у неё теперь всё лицо в противных отметинах, а о чистоте её платья нечего было и говорить; как ни выговаривала ей Мари, ничего не помогало. Зато Мари весело припомнила, что мама очень лукаво улыбнулась, когда Мари понравился маленький

зонтик у её подруги Гретхен. Фриц жаловался, что в конюшне его недостаёт хорошей гнедой лошади, да и вообще у него мало осталось кавалерии, что папе было очень хорошо известно.

Дети отлично понимали, что родители в это время расставляли купленные для них игрушки; знали и то, что сам младенец Христос весело смотрел в эту минуту с облаков на их ёлку и что нет праздника, который бы приносил детям столько радости, сколько Рождество. Тут вошла в комнату их старшая сестра Луиза и напомнила детям, которые всё ещё шушукались об ожидаемых подарках, что руку родителей, когда они что-нибудь им дарят, направляет сам Христос и что Он лучше знает, что может доставить им истинную радость и удовольствие, а потому умным детям не следует громко высказывать свои желания, а, напротив, терпеливо дожидаться приготовленных подарков. Маленькая Мари призадумалась над словами сестры, а Фриц не мог всё-таки удержаться, чтобы не пробормотать: «А гнедого рысака да гусаров очень бы мне хотелось получить!»

Между тем совершенно стемнело. Мари и Фриц сидели, прижавшись друг к другу, и боялись вымолвить слово, им казалось, что будто над

ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная музыка. По стене скользнула яркая полоса света; дети знали, что это младенец Христос отлетел на светлых облаках к другим счастливым детям. Вдруг зазвенел серебряный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери шумно распахнулись, и широкий поток света ворвался из гостиной в комнату, где были Мари и Фриц. Ахнув от восторга, остановились они на пороге, но тут родители подхватили их за руки и повели вперёд со словами:

— Ну, детки, пойдёмте смотреть, чем одарил вас младенец Христос!

Подарки

Обращаюсь к тебе, мой маленький читатель или слушатель — Фриц, Теодор, Эрнст, всё равно, как бы тебя ни звали, — и прошу припомнить, с каким удовольствием останавливался ты перед рождественским столом, заваленным прекрасными подарками, — и тогда ты хорошо поймёшь радость Мари и Фрица, когда они увидели подарки и ярко сиявшую ёлку! Мари только воскликнула:

— Ах, как хорошо! Как чудно!

А Фриц начал прыгать и скакать, как козлёнок.

Должно быть, дети очень хорошо себя вели весь этот год, потому что ещё ни разу не было им подарено так много прекрасных игрушек.

Золотые и серебряные яблочки, конфеты, обсахаренный миндаль и великое множество разных лакомств унизывали ветви стоявшей посередине ёлки. Но всего лучше и красивее горели между ветвями маленькие свечи, точно разноцветные звёздочки, и, казалось, приглашали детей скорее полакомиться висевшими на ней цветами и плодами. А какие прекрасные подарки были разложены под ёлкой — трудно и описать! Для Мари были приготовлены нарядные куколки, ящички с полным кукольным хозяйством, но больше всего её обрадовало шёлковое платьице с бантами из разноцветных лент, висевшее на одной из ветвей, так что Мари могла любоваться им со всех сторон.

— Ах, моё милое платьице! — в восторге воскликнула Мари. — Ведь оно точно моё? Ведь я его надену?

Фриц между тем уже успел трижды обскакать вокруг ёлки на своей новой лошади, которую он нашёл привязанной к столу за поводья. Слезая, он потрепал её по холке и сказал, что конь — лютый зверь, ну да ничего: уж он его вышколит! Потом

он занялся эскадроном новых гусар в ярко-красных, с золотом мундирах, которые размахивали серебряными сабельками и сидели на таких чудесных белоснежных конях, что можно было подумать, что и кони были сделаны из чистого серебра.

Успокоившись немного, дети хотели взяться за рассматривание книжек с картинками, которые лежали тут же и где были нарисованы ярко раскрашенные люди и прекрасные цветы, а также милые играющие детки, так натурально изображённые, что казалось, они были живые и в самом деле играли и бегали. Но едва дети принялись за картинки, как вдруг опять зазвенел колокольчик. Они знали, что это, значит, пришёл черёд подаркам крёстного Дроссельмейера, и они с любопытством подбежали к стоявшему возле стены столу. Ширмы, закрывавшие стол, раздвинулись — и что же увидели дети! На свежем, зелёном, усеянном множеством цветов лугу стоял маленький замок с зеркальными окнами и золотыми башенками. Вдруг послышалась музыка, двери и окна замка отворились, и через них можно было увидеть, как множество маленьких кавалеров с перьями на шляпах и дам в платьях со шлейфами гуляли по залам. В центральном

зале, ярко освещённом множеством маленьких свечек в серебряных канделябрах, танцевали дети в коротких камзольчиках и платьицах. Какой-то маленький господин, очень похожий на крёстного Дроссельмейера, в зелёном плаще изумрудного цвета, беспрестанно выглядывал из окна замка и опять исчезал, выходил из дверей и снова прятался. Только ростом этот крёстный был не больше папиного мизинца. Фриц, облокотясь на стол руками, долго рассматривал чудесный замок с танцующими фигурками, а потом сказал:

— Крёстный, крёстный! Позволь мне войти в этот замок!

Крёстный объяснил ему, что этого никак нельзя, и он был прав, потому что глупенький Фриц не подумал, как же можно было ему войти в замок, который, со всеми его золотыми башенками, был гораздо ниже его ростом. Фриц это понял и замолчал.

Посмотрев ещё некоторое время, как куколки гуляли и танцевали в замке, как зелёный человечек всё выглядывал в окошко и высовывался из дверей, Фриц сказал с нетерпением:

— Крёстный, сделай, чтобы этот зелёный человечек выглянул из других дверей!

— Этого тоже нельзя, мой милый Фриц, — воз-

разил крёстный.

— Ну так вели ему, — продолжал Фриц, — гулять и танцевать с прочими, а не высовываться.

— И этого нельзя, — был ответ.

— Ну так пусть дети, которые танцуют, сойдут вниз; я хочу их рассмотреть поближе.

— Ничего этого нельзя, — ответил немного обиженный крёстный, — в механизме всё сделано раз и навсегда.

— Во-о-т как, — протяжно сказал Фриц. — Ну, если твои фигурки в замке умеют делать только одно и то же, так мне их не надо! Мои гусары лучше! Они умеют ездить вперёд и назад, как я захочу, а не заперты в доме.

С этими словами Фриц в два прыжка очутился возле своего столика с подарками и мигом заставил свой эскадрон на серебряных лошадях скакать, стрелять, маршировать — словом, делать всё, что только приходило ему в голову. Мари также потихоньку отошла от подарка крёстного, потому что и ей, по правде сказать, немного наскучило смотреть, как куколки выделывали всё одно и то же; она только не хотела показать этого так явно, как Фриц, чтобы не огорчить крёстного. Советник, видя это, не мог удержаться, чтобы не сказать родителям недовольным тоном:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей. Я заберу свой замок!

Но мать остановила крёстного и просила показать ей искусный механизм, с помощью которого двигались куколки. Советник разобрал игрушку, с удовольствием всё показал и собрал снова, после чего он опять повеселел и подарил детям ещё несколько человечков с золотыми головками, ручками и ножками из вкусного, душистого пряничного теста. Фриц и Мари очень были им рады. Старшая сестра Луиза, по желанию матери, надела новое подаренное ей платье и стала в нём такой нарядной и хорошенькой, что и Мари, глядя на неё, захотелось непременно надеть своё, в котором, ей казалось, она будет ещё лучше. Ей это охотно позволили.

О. Генри. Дары волхвов

Один доллар и восемьдесят семь центов! И это всё! Из них шестьдесят центов — по одному пенни. Она выторговывал их по одному, по два пенни у бакалейщика, зеленщика и мясника, и у неё до сих пор щёки горели при одном воспоминании о том, как она торговалась. Господи, какого мнения были о ней, какой жадной и скупой считали её всё эти торговцы!

Делла трижды пересчитала деньги. Один доллар и восемьдесят семь центов. А завтра — Рождество!

Ясное дело, что ничего другого не оставалось, как хлопнуться на маленькую потёртую кушетку и реветь. Делла так и сделала, из чего легко можно вывести заключение, что вся наша жизнь состоит из слёз, жалоб и улыбок, — с перевесом в сторону слёз.

В то время как хозяйка будет переходить от одного душевного состояния к другому, мы успеем бросить беглый взгляд на квартиру. Это меблированная квартирка, за которую платят восемь долларов в неделю. Нищенская квартира — вот

первое впечатление и самое точное определение.

В вестибюле, внизу, висит ящик для писем, куда никогда в жизни не пройдёт ни единое письмо. Там же находится электрический звонок, из которого ни единый смертный не выжмет ни малейшего звука. В тех же местах можно увидеть визитную карточку: «М-р Джеймс Диллингхем Юнг». Во времена давно прошедшие и прекрасные, когда хозяин дома зарабатывал тридцать долларов в неделю, буквы «Диллингхем» имели чрезвычайно заносчивый вид. Но в настоящее время, когда доходы упали до жалкой цифры в двадцать долларов в неделю, эти буквы как будто бы потускнели и словно задумались над очень важной проблемой: «А не уменьшиться ли им всем до скромного и незначительного «Д»?»

Но при всём том, когда бы мистер Джеймс Диллингхем Юнг ни возвращался домой и мигом ни взбегал на первый этаж, миссис Джеймс Диллингхем Юнг, представленная вам уже как Делла, неизменно звала его «Джим» и крепко-крепко сжимала в своих объятиях. Из чего следует, что у них всё обстояло благополучно.

Делла кончила плакать и припудрила пуховкой щёки. Она стояла у окна и мрачно смотрела

на серую кошку, которая пробиралась по серому забору на заднем сером дворе. Завтра — Рождество, а у неё в кармане только один доллар и восемьдесят семь центов. И на эти деньги она должна купить Джиму подарок. В продолжение нескольких месяцев она по пенни копила эти деньги — и вот результат! С двадцатью долларами в неделю далеко не уедешь! Расходы оказались гораздо больше, чем можно было предполагать. Так всегда бывает! И ей удалось отложить только один доллар восемьдесят семь центов на подарок Джиму.

Её Джиму! Сколько счастливых часов прошло в том, что она строила всевозможные планы и расчёты и раздумывала, что бы этакое красивое купить Джиму. Что-нибудь очень изящное, редкое и настоящее, вполне достойное чести принадлежать её Джиму!

Между окнами, выходившими на улицу, стояло простеночное зеркало. Быть может, вам приходилось когда-нибудь видеть подобные зеркала в восьмидолларовых квартирках? Тоненькой и очень подвижной фигурке иногда случается уловить своё изображение в этом ряде узеньких продолговатых стёкол. Что касается стройной Деллы, то ей удалось достигнуть совершенства в

этом отношении.

Вдруг она отскочила от окна и остановилась у зеркала. Её глаза зажглись ярким светом, но лицо потеряло секунд на двадцать свой чудесный румянец. Она вынула шпильки из волос и распустила их во всю длину.

А теперь я должен сказать вам вот что. У четы Диллингхем Юнг были две вещи, которыми она гордилась сверх всякой меры. Золотые часы Джима, которые в своё время принадлежали его отцу, а ещё раньше деду, — это раз.

И волосы Деллы — это два. Если бы царица Савская жила напротив и хоть бы раз в жизни увидела волосы Деллы, когда та сушила их на солнце, то мгновенно и навсегда потускнели бы всё драгоценности и дары её величества. Если бы, с другой стороны, царь Соломон, при всех своих несметных богатствах, набитых в подвалах, был швейцаром и единый раз увидел, как Джим вынимает из кармана свои замечательные часы, то он тут же, на месте, на виду у всех, выдрал бы себе бороду от зависти!

Итак, волосы, чудесные волосы Деллы упали вдоль её плеч и заструились, точно редкостный каскад каштановой воды. Они достигали её колен и были на ней словно мантия.

Вдруг нервным и торопливым движением она снова собрала волосы. После того она минуту-две постояла в глубокой задумчивости, а тем временем несколько скупых слезинок скатилось на потёртый красный ковёр.

Она надела старый тёмный жакет. Надела старую тёмную шляпу. Затем завихрились юбки, сверкнули глаза, она шмыгнула в дверь, слетела со ступенек и очутилась на улице. Она остановилась перед вывеской, на которой было написано следующее: «М-м Софрони. Всевозможные волосяные изделия».

Мигом взлетела Делла на первый этаж и остановилась на площадке, с трудом переводя дыхание. Мадам, жирная, поразительно белая, холодная и противная, слишком мало походила на «Софрони».

— Вы купите мои волосы? — спросила Делла.

— Я покупаю волосы! — ответила та. — Снимите шляпу и дайте мне взглянуть на ваши…

Снова заструился каштановый каскад.

— Двадцать долларов! — молвила мадам, опытной рукой взвешивая волосы.

— Дайте скорее деньги! — сказала Делла.

А затем в продолжение целых двух часов она парила по городу на розовых крыльях. Простите

мне эту метафору и затем позвольте сказать вам, что Делла перерыла чуть ли не все магазины в поисках подходящего подарка для Джима.

Наконец она нашла то, что ей было нужно. Несомненно, это было сделано для Джима — и только для него. Подобной вещи не было больше ни в одном магазине, а она побывала повсюду. Это была карманная платиновая цепочка, очень простого и скромного рисунка, которую только знаток оценил бы по-настоящему, несмотря на отсутствие мишурных украшений. Именно так выглядят все настоящие вещи! Цепочка была вполне достойна часов. Как только Делла увидела её, она тут же на месте решила, что должна купить её для Джима. Она была подобна ему. Благородство и высокая ценность — вот что одинаково характеризовало и Джима, и цепочку. Делла уплатила за подарок двадцать один доллар и поспешила домой с восемьюдесятью семью центами в кармане. С подобной цепочкой Джим мог себя чувствовать вполне хорошо в любом обществе. Несмотря на высокое качество самих часов, Джим очень редко вынимал их на людях — из-за старого кожаного ремешка, заменявшего цепочку. Но теперь всё пойдёт по-иному!

Когда Делла вернулась домой, её возбуждение

мгновенно уступило место осторожности и рассудку. Она вынула щипцы для волос, зажгла газ и энергично принялась за ремонт повреждений, произведённых её благородством плюс любовью. Ах, дорогие друзья, какая это была тяжёлая работа!

Через сорок минут её голова покрылась мелкими завитушками, которые сделали её удивительно похожей на лохматого школьника. Она бросила долгий, внимательный и критический взор на своё отображение в зеркале.

— Если Джим сразу не убьёт меня, — сказала она самой себе, — то скажет, что я похожа на хористочку с Кони-Айленд. Но что я могла делать? Что я могла делать с одним долларом и восемьюдесятью семью центами в кармане?

К семи часам вечера кофе был готов, и на газовой плите уже стояла сковородка для жарки котлет.

Джим никогда не опаздывал. Делла сложила цепочку, крепко зажала её в руке и села за стол поближе к двери, в которую всегда входил Джим. Вдруг она услышала шум его шагов по лестнице и на миг побледнела как полотно. У неё была привычка произносить молитву касательно самых незначительных будничных вещей, поэтому она

и теперь прошептала:

— Господи, Боже, сделай так, чтобы Джим и теперь нашёл меня хорошенькой!

Дверь открылась, пропустила вперёд Джима и закрылась. Джим выглядел похудевшим и очень серьёзным. Бедный мальчик!

Всего только двадцать два года, а уже обременён семьёй! Ему необходимо было новое пальто. Перчаток у него тоже не было. Он остановился у дверей, точно сеттер, внезапно почуявший куропатку. Он устремил пристальный взор на Деллу, и как Делла ни старалась, она никак не могла прочесть выражение этого взора. Она испугалась насмерть. Во взгляде Джима не было ни гнева, ни удивления, ни порицанья, ни ужаса, — словом, ни единого из тех чувств, которых ждала Делла. Он просто стоял напротив и не отрывал от её головы какого-то странного, необычайного, незнакомого взора.

Делла выскочила из-за стола и побежала к нему.

— Джим, дорогой мой! — взмолилась она. — Ради всего святого, не гляди на меня так! Я срезала волосы и продала их потому только, что не могла встретить Рождество без того, чтобы не купить тебе подарка! Они опять отрастут у меня! Ради бога,

не волнуйся: увидишь, что они отрастут! Ничего другого я не могла сделать! А что касается волос, то они растут так быстро, даже чересчур быстро. Ну, Джим, скажи мне: «Весёлого Рождества!», — и будем веселиться! Ах, если бы ты только знал, какой замечательный, какой чудесный подарок я приготовила тебе!

— Значит, ты остригла свои волосы? — спросил Джим с таким видом, точно после самой напряжённой работы ума не мог всё-таки уразуметь такой простой и очевидный факт.

— Да, остригла и продала их! — ответила Делла. — Разве же ты из-за этого не так любишь меня, как раньше? Ведь хоть и без волос, я осталась та же самая и такая же самая!

Джим оглядел всю комнату.

— Итак, ты говоришь, что твоих волос уже больше нет? — снова почти с идиотским видом спросил он.

— Напрасно ты ищешь их здесь! — сказала Делла. — Ведь я же ясно говорю тебе, что я продала их! Сегодня сочельник, мальчик мой! Пойми же это, дорогой, и будь ласков со мной, потому что я сделала это только для тебя! Очень может быть, что мои волосы уже разделены и сосчитаны, — продолжала она с серьёзной нежностью, — но

нет на свете такого человека, который мог бы подсчитать мою любовь к тебе! Джим, жарить котлеты?

Казалось, Джим вышел наконец из состояния столбняка и крепко прижал к своей груди Деллу.

Очень прошу вас, бросьте на небольшие десять секунд ваш внимательный испытующий взор на какой-нибудь другой незначительный предмет, находящийся в ином направлении. Восемь долларов в неделю или же миллион в год — какое значение это имеет? Математик или же остряк дадут вам совершенно неправильный ответ. Волхвы принесли в своё время очень ценные дары, но и среди тех даров не было подобного этому. Это туманное утверждение разъяснится впоследствии.

Джим вынул из своего кармана какой-то пакетик и бросил его на стол.

— Делла, — сказал он, — я не хочу, чтобы ты ложно истолковала моё поведение. Меня совершенно не волнует, что ты сделала со своими волосами: остригла ли ты их, побрила ли или просто-напросто помыла шампунем. Из-за такой мелочи я не стану меньше любить мою дорогую девочку. Но если ты потрудишься и развернёшь этот пакетик, то сразу поймёшь, почему я в

первую минуту так вёл себя.

Белые проворные пальцы очень живо справились с верёвочкой и бумагой. И тотчас же раздался восторженный крик радости, который — увы! — слишком скоро и чисто по-женски сменился истерическими слезами и воплями, потребовавшими от хозяина квартиры, чтобы он немедленно пустил в ход все имеющиеся в его распоряжении успокоительные средства.

Потому что на столе лежали гребни, — целый набор боковых и задних гребней, которыми Делла уже очень давно любовалась, видя их часто на одной из витрин на Бродвее. Это были великолепные гребни, настоящие черепаховые, с блестящими украшениями по бокам, вполне подходящие для таких же великолепных, но, к сожалению, остриженных волос Деллы. Это были очень дорогие гребни — Делла прекрасно знала это, и сердечко её долго и страстно рвалось к ним без малейшей надежды на то, что она когда-нибудь в сей жизни будет обладать ими. И вот сейчас они лежат перед ней, но уже нет волос, нет кос, которые эти желанные гребни должны были украшать…

Но она прижала их к своей груди и наконец собралась с силами, подняла головку, поглядела

на них затуманенными глазами и с улыбкой сказала:

— Джим, у меня страшно быстро растут волосы!

И тут же на месте она подскочила, как кошка, и закричала на всю комнату:

— О! О!

Ведь Джим ещё не видел её замечательного подарка! Она порывисто протянула ему этот подарок на своей раскрытой ладони. Казалось, что на тусклый драгоценный металл упало сияние её яркого и страстного духа.

— Ну, Джим, разве же это не прелесть? Имей в виду, что я перерыла буквально весь город. Теперь ты сможешь вынимать их сто раз на день. Дай-ка сюда часы! Я хочу посмотреть, как они выглядят с цепочкой!

Но вместо того чтобы исполнить приказание, Джим опустился на кушетку, заложил за голову руки и улыбнулся.

— Знаешь, что, Делла, я скажу тебе, — промолвил он, — я предложил бы на время отложить наши подарки в сторону. Для настоящего момента они слишком хороши. Я продал мои часы для того, чтобы купить тебе гребни. А теперь, дорогая моя, предлагаю тебе пожарить котлеты.

Как вам известно, волхвы, принёсшие младенцу подарки в ясли, были умные, чрезвычайно умные люди. Это они придумали обычай дарить рождественские подарки. Такие же мудрые, как они сами, были, несомненно, и их подарки, которые в крайнем случае можно было обменять. Не мудрствуя лукаво, я пытался изложить здесь рассказ о двух глупых детях, которые самым немудрёным образом пожертвовали друг для друга самыми прекрасными сокровищами своего дома. Но в последнем моём слове, обращённом к современным мудрецам, я позволю себе указать на то, что из всех людей, делавших когда-либо подарки, эти двое — мудрейшие. Из всех людей, делавших и принимавших подарки, они — самые мудрые. Таких мудрых людей и на свете до сих пор не было. Они — настоящие волхвы!

Джером Клапка Джером. Встреча автора с ангелом



Однажды, после рождественских праздников,

я видел странный сон. Мне приснилось, будто я вылетел из своей спальни прямо в окно в одной ночной сорочке. Я поднимался всё выше и выше к небу, это радовало меня.

«Ага, обратили-таки на меня внимание! — с гордостью размышлял я. — Уж очень я был добр… должно быть, даже уж чересчур. Ведь будь я не таким добрым, пожалуй, пробыл бы на земле подольше… Впрочем, — заключил я, — всего сразу требовать нельзя».

Между тем земля становилась всё меньше и меньше. Последнее, что я видел, был длинный ряд электрических фонарей, окаймляющих набережную Темзы. Вскоре и от этой светящейся линии не осталось ничего, кроме слабого мерцания, постепенно поглощаемого полным мраком. Когда подо мною исчез последний намёк на земной свет, я услышал за собой тихое шуршание крыльев. Оглянувшись, я увидел ангела-регистратора. Он держал под мышкой объёмистую, тяжёлую книгу.

Я высказал ему своё предположение, что он, должно быть, очень утомлён.

— Да, — ответил ангел, — ваши рождественские дни всегда доставляют нам много лишнего труда.

— Понятно, удивляюсь только, как вы успеваете справляться в это время. К Рождеству мы, люди, сразу превращаемся в удивительных добряков и принимаемся благодетельствовать вовсю. Это такое приятное состояние, — заметил я.

— Охотно верю вам, — вежливо согласился ангел.

— Мне самому всегда даёт толчок первый рождественский номер одного семейного журнала, в котором так трогательно изображены добродушные краснолицые эсквайры, оделяющие бедных сельчан пломпудингом, и хорошенькие, закутанные в дорогие меха девочки, кормящие сахаром дрожащих от холода и голода уличных лошадок. Эти картинки умиляют меня и до такой степени умягчают моё сердце, что я готов взять в первом попавшемся благотворительном обществе кружку для сбора и ходить по городу собирать деньги на бедных.

— Но вы, господин ангел, — продолжал я, — не думайте, что я один на свете делаюсь добрым на Рождество. О нет! Я отнюдь не желаю внушать вам такое превратное мнение о себе в ущерб другим. На Рождество то и хорошо, что оно делает добрыми всех людей. Сколько хороших чувств питаем мы в это время! Сколько делаем добра!

Начинается это у нас незадолго до Рождества и продолжается чуть ли не до конца января. Вероятно, для вас одно наслаждение отмечать всё это в вашей книге?..

— О да, великодушные дела доставляют всем нам большую радость! — подтвердил ангел.

— Так же и нам, — сказал я. — Я люблю думать о тех добрых делах, которые сделал сам. Я всё собирался вести дневник, в который мог бы каждый вечер записывать свои добрые дела, совершённые за истекший день. Это было бы так поучительно для потомства.

Ангел нашёл, что это была блестящая идея.

— Полагаю, что в вашей книге записано всё, что я сделал хорошего на земле в продолжение последних шести недель, не так ли? — спросил я, глядя на толстую книгу моего небесного спутника.

— Да, сюда всё занесено, — подтвердил мою догадку ангел.

Я разговорился с ангелом не из-за чего-нибудь особенного, а просто ради болтовни. Я нисколько не сомневался в его точности и добросовестности; но ведь всегда приятно лишний разок поболтать о себе.

— А что, записаны у вас пять шиллингов, по-

жертвованных мною в «шестипенсовый фонд для безработных», учреждённый при редакции «Ежедневного Телеграфа»? — осведомился я.

— Как же, конечно, записаны, — ответил ангел.

— Впрочем, — поспешил я добавить, — как теперь припоминаю, собственно, я пожертвовал десять шиллингов. Мне пришлось подписаться во второй раз, потому что когда был опубликован список имён жертвователей, я увидел, что моё имя искажено.

Ангел успокоил меня уверением, что в его книгу занесены обе мои подписки.

— Потом в течение миновавших рождественских праздников мне пришлось присутствовать на четырёх благотворительных обедах, — напомнил я ему. — К сожалению, я забыл, о какой именно благотворительности шло дело. Помню только, что каждый раз на другой день после такого обеда у меня жестоко болела голова…

Ангел прервал меня заверением, что мои жертвы на этих обедах также занесены им в книгу.

— На прошлой неделе я послал на благотворительный базар дюжину своих фотографических карточек с автографом, — продолжал я.

Ангел заявил, что записал и этот факт.

— Потом, — продолжал я, — мне пришлось участвовать на двух костюмированных балах. Я был в костюме сэра Уолтера Рэли. Лично я не охоч до таких балов, и бывать на них для меня в некотором роде подвиг, а потому я могу надеяться…

Ангел поспешил уверить меня, что у него отмечены и эти мои подвиги.

— Так вы, может быть, знаете и о том, что я на днях участвовал в представлении «Наших мальчиков», данном в пользу фонда для бедных викариев? Об этом было напечатано в «Утренней почте», но критик…

Ангел снова прервал меня, сказав, что если критик этой газеты отнёсся ко мне несправедливо, то он за это понесёт наказание, и что, во всяком случае, мнение газетных или каких бы там ни было критиков не может повлиять на мнение его, ангела.

— Это хорошо, — заметил я. — В сущности, я и сам понимаю, что от этих «благотворительных» спектаклей очень немного перепадает для нуждающихся. Но как бы то ни было, а я-то играл, кажется, недурно.

Ангел сказал, что он лично был на том спектакле и написал о нём одобрительный отзыв.

Я напомнил ему ещё о тех четырёх балконных

местах, которые взял на грандиозное зрелище, устроенное королём в пользу фонда для неимущих британцев в Йоханнесбурге. Никто из знаменитых артистов и артисток, имена которых были обозначены в афишах, не принял в нём участия, но прислал письма с сердечными пожеланиями. Зато те, имена которых никому не известны, явились. Во всяком случае, зрелище стоило потраченных мною на него денег, и я не жалуюсь.

Я сделал и ещё несколько добрых дел, но никак не мог припомнить, каких именно. Помнил только, что в число пожертвованных мною старых вещей попало и пальто, которое я с успехом мог бы ещё поносить и сам. Кроме того, я вспомнил, что брал билет на лотерею с благотворительной целью. Разыгрывался автомобиль, который достался одной богатой леди.

Ангел просил меня не беспокоиться: не только всё это, но и то, о чём я никак не мог вспомнить, значится у него в книге.

Мною овладело любопытство. По всей видимости, ангел относился ко мне благосклонно, и я решился спросить его, не позволит ли он мне заглянуть в его книгу. Он ответил, что ничего не имеет против этого, и открыл книгу на страницах,

посвящённых мне. Взлетев немножко повыше, я заглянул в книгу через его плечо.

При первом же взгляде мне показалось, что ангел многое перепутал. Например, вместо того чтобы занести мои добрые дела на страницу моих заслуг, он отметил их на странице моих прегрешений, рядом с моими действиями лицемерия, тщеславия и самохвальства. В рубрику милосердия он занёс за последние шесть недель только одно моё доброе дело, когда я в вагоне трамвая уступил место одной измученной старушке, которая даже не поблагодарила меня за это, потому что от усталости еле дышала. Все же остальные мои жертвы и траты в пользу других пропали даром, по милости странной небрежности ангела.

Сначала я не хотел было обижаться на него, готовый видеть с его стороны простую ошибку при записывании, поэтому кротко сказал ему:

— Вы совершенно верно отметили статьи по количеству и форме, но при этом допустили небольшую ошибку… Это случается со всеми, и я за это не в претензии на вас, тем более что вы, наверное, исправите её. Дело в том, что вы кое-что занесли не на ту страницу, на которую следует.

Но ангел взглянул на меня с таким серьёзным и бесстрастным лицом и так самоуверенно воз-

разил: «У меня нет никакой ошибки», что меня взорвало.

— Как нет никакой ошибки?! — воскликнул я. — А вот здесь…

Ангел с тяжёлым вздохом захлопнул книгу прямо перед моим носом. Это ещё пуще взбесило меня. Я хотел было вырвать у него книгу, чтобы указать на его ошибку, но вдруг почувствовал, что начал опускаться. Подо мной постепенно замерцали, потом вдруг стали подниматься мне навстречу лондонские огни. Видя, что меня несёт на верхушку Вестминстерской башни с часами, я сделал движение, чтобы избежать этого и… угодил прямо в реку. И тут я проснулся.

Я не могу отделаться от впечатления, которое произвёл на меня печальный взгляд ангела. Припоминая этот взгляд, я часто спрашиваю себя, не лучше ли бы я сделал, если бы лично раздал беднякам, не требуя ничего взамен, те деньги, которые во имя их потратил на разные глупости? Можем ли мы удовлетворить того Великого Идеалиста, который учил раздать всё имущество бедным, теми подачками от нашего излишка, которые мы небрежно бросаем в сборные кружки, думая этим отделаться от всяких забот о бедных?

Не есть ли наша так называемая «благотвори-

тельность» просто плохая уступка совести, своего рода страховка, дешёвая премия, взятая на тот случай, если окажется, что в действительности существует «другой» мир? Такое ли милосердие ведёт к Богу? Так ли легко добывается вечное блаженство там?

Помню один великосветский благотворительный бал. Билеты на этот бал продавались по двенадцати шиллингов и шести пенсов, и каждая дама, продавшая более десяти этих билетов, удостаивалась собственноручного благодарственного письма от герцогини, бывшей председательницею того благотворительного учреждения, в пользу которого давался бал. Был, конечно, и буфет с прохладительными напитками, фруктами и разными сластями, а после бала следовал довольно существенный ужин, так что, за всеми расходами едва ли очистились для бедняков те шесть пенсов, которые приплачивались к основной цене билетов, то есть к двенадцати шиллингам. И дамы, обрадовавшиеся случаю показать свои новые костюмы, с видом жертв толковали между собой и со своими кавалерами о том, что они вовсе не были расположены танцевать на этой неделе, но для такой великой и прекрасной цели, как помощь неимущим, они,

разумеется, всегда готовы жертвовать всем, чем только могут.

Вообще у нас такой избыток «благотворительности», что следует только удивляться, как это всё ещё имеются бедные. Но и хорошо, что они имеются. Иначе что бы мы стали делать без них? Ведь не будь бедных, мы никогда не узнали бы, сколько доброты и милосердия таится в нашем обществе. Кому бы стали мы уделять от щедрот своих, если бы не оставалось более бедных? Ведь тогда, пожалуй, нам пришлось бы одаривать друг друга; а это было бы уж чересчур убыточно для нас, потому что «друзья» требовательны и могут быть довольны только каким-нибудь особенно ценным подарком, между тем как вовремя розданная между бедными какая-нибудь пара шиллингов может принести им существенную пользу, а вам доставить славу доброго самаритянина. Хорошо, что Провидение в своей мудрой предусмотрительности снабдило нас достаточным количеством бедняков, на которых мы можем попрактиковаться в своих добрых чувствах.

Прекрасная леди Баунтифэл, разве вам никогда не приходило на ум поблагодарить Бога за создание бедных — тех самых чистеньких, при-

знательных бедных, которые так низко склоняют перед вами свои головы и спины и так трогательно лепечут вам о том, что Небо тысячекратно вознаградит вас за вашу доброту?

Один викарий рассказывал мне, с известным подмигиваньем глазами, как однажды эта важная леди пригласила его к себе в свой роскошный экипаж и попросила указывать ей, где живут бедные, которых она желала осчастливить своим личным посещением. Под руководством викария она объездила несколько тёмных и узких улиц и во многих трущобах раздавала милостыню. Наконец они подъехали к переулку, в котором ютится больше всего бедноты. Заглянув в этот переулок, кучер обернулся к своей госпоже и сказал:

— Миледи, здесь экипаж не пройдёт: слишком узко.

Леди вздохнула и прощебетала:

— Ах, как жаль!.. Поверните назад, Джек.

И чистокровные рысаки повернули назад.

Там, где ютится настоящая беднота, нет места великолепному экипажу леди Баунтифэл. Такие закоулки доступны только одному действительному Милосердию, которое повсюду проскользнёт незаметно; оно не чета надутому Тщеславию…

Выслушав викария, я спросил его:

— Чем же, по-вашему, заменить эту показную благотворительность, которая совершенно не достигает цели?

— Справедливостью, — ответил викарий. — Если бы воцарилась справедливость, не было бы и нужды в благотворительности.

— Однако некоторым искренним добрым людям благотворение доставляет огромное удовольствие, — заметил я.

— Да, и я согласен с тем, что таким людям несравненно приятнее давать, нежели брать, — проговорил викарий и тут же со вздохом прибавил: — Но до осуществления моего идеала справедливости — увы! — ещё очень далеко. Если мы и приближаемся к нему, то очень медленными шагами.

Сельма Лагерлёф. Святая ночь



Когда мне было пять лет, меня постигло большое горе. Я не знаю, испытывала ли я впоследствии горе большее, чем тогда.

У меня умерла бабушка. До того времени она каждый день сидела на угловом диване в своей комнате и рассказывала чудные вещи.

Я не помню бабушку иной, как сидящей на своём диване и рассказывающей с утра до ночи нам, детям, притаившимся и смирно сидящим возле неё; мы боялись проронить хоть слово из рассказов бабушки. Это была очаровательная жизнь! Не было детей более счастливых, чем мы.

Я смутно помню образ бабушки. Помню, что у неё были прекрасные, белые, как мел, волосы, что она была очень сгорбленная и постоянно вязала свой чулок.

Ещё помню, что, когда бабушка кончала рассказ, она клала свою руку мне на голову и говорила:

— И всё это такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня.

Помню, что бабушка умела петь красивые песни; но пела их она не каждый день. В одной из этих песен говорилось о каком-то рыцаре и морской деве, к этой песне был припев:

«Как холодно веет ветер, как холодно веет ветер по широкому морю».

Вспоминаю я маленькую молитву, которой научила меня бабушка, и стихи псалма.

О всех рассказах бабушки сохранилось у меня лишь слабое, неясное воспоминание. Только один из них помню я так хорошо, что могу рассказать. Это — маленький рассказ о Рождестве Христовом.

Вот почти всё, что у меня сохранилось в памяти о бабушке; но лучше всего я помню горе, охватившее меня, когда она умерла.

Я помню то утро, когда угловой диван остался пустым, и было невозможно себе представить, как провести длинный день. Это помню я хорошо и никогда не забуду.

Нас, детей, привели, чтобы проститься с умершей. Нам было страшно поцеловать мёртвую руку; но кто-то сказал нам, что последний раз мы можем поблагодарить бабушку за все радости, которые она нам доставляла. Помню, как ушли сказания и песни из нашего дома, заколоченные в длинный чёрный гроб, и никогда не вернулись.

Помню, как что-то исчезло из жизни. Будто закрылась дверь в прекрасный волшебный мир, доступ в который нам был до того совершенно свободен. С тех пор не стало никого, кто смог бы снова открыть эту дверь.

Помню, что пришлось нам, детям, учиться играть в куклы и другие игрушки, как играют все

дети, и постепенно мы научились и привыкли к ним. Могло показаться, что заменили нам новые забавы бабушку, что забыли мы её.

Но и сегодня, через сорок лет, в то время, как разбираю я сказания о Христе, собранные и слышанные мною в далёкой чужой стране, в моей памяти живо встаёт маленький рассказ о Рождестве Христовом, слышанный мной от бабушки. И мне приятно ещё раз его рассказать и поместить в своём сборнике.

* * *

Это было в Рождественский сочельник. Все уехали в церковь, кроме бабушки и меня. Я думаю, что мы вдвоём были одни во всём доме; только мы с бабушкой не могли поехать со всеми, потому что она была слишком стара, а я слишком мала. Обе мы были огорчены, что не услышим Рождественских песнопений и не увидим священных огней.

Когда уселись мы, одинокие, на бабушкином диване, бабушка начала рассказывать:

«Однажды глубокой ночью человек пошёл искать огня. Он ходил от одного дома к другому и стучался.

— Добрые люди, помогите мне! — говорил

он. — Дайте мне горячих углей, чтобы развести огонь: мне нужно согреть только что родившегося Младенца и Его Мать.

Ночь была глубокая, все люди спали, и никто ему не отвечал.

Человек шёл всё дальше и дальше. Наконец увидел он вдали огонёк. Он направился к нему и увидел, что это — костёр. Множество белых овец лежало вокруг костра; овцы спали, их сторожил старый пастух.

Человек, искавший огня, подошёл к стаду; три огромные собаки, лежавшие у ног пастуха, вскочили, заслышав чужие шаги; они раскрыли свои широкие пасти, как будто хотели залаять, но звук лая не нарушил ночной тишины. Человек увидел, как шерсть поднялась на спинах собак, как засверкали в темноте острые зубы ослепительной белизны, и собаки бросились на него. Одна из них схватила его за ногу, другая — за руку, третья вцепилась ему в горло; но зубы и челюсти не слушались собак, они не смогли укусить незнакомца и не причинили ему ни малейшего вреда.

Человек хотел подойти к костру, чтобы взять огня. Но овцы лежали так близко одна к другой, что спины их соприкасались, и он не мог дальше идти вперёд. Тогда человек взобрался на спины

животных и пошёл по ним к огню. И ни одна овца не проснулась и не пошевелилась».

До сих пор я, не перебивая, слушала рассказ бабушки, но тут я не могла удержаться, чтобы не спросить.

— Почему не пошевелились овцы? — спросила я бабушку.

— Это ты узнаешь немного погодя, — ответила бабушка и продолжала рассказ:

«Когда человек подошёл к огню, заметил его пастух. Это был старый, угрюмый человек, который был жесток и суров ко всем людям. Завидев чужого человека, он схватил длинную остроконечную палку, которой гонял своё стадо, и с силой бросил её в незнакомца. Палка полетела прямо на человека, но, не коснувшись его, повернула в сторону и упала где-то далеко в поле».

В этом месте я снова перебила бабушку.

— Бабушка, почему палка не ударила человека? — спросила я; но бабушка мне ничего не ответила и продолжала свой рассказ:

«Человек подошёл к пастуху и сказал ему:

— Добрый друг! Помоги мне, дай мне немного огня. Только что родился Младенец; мне надо развести огонь, чтобы согреть Малютку и Его Мать.

Пастух охотнее всего отказал бы незнакомцу.

Но когда он вспомнил, что собаки не смогли укусить этого человека, что овцы не разбежались перед ним и палка не попала в него, как будто не захотела ему повредить, пастуху стало жутко, и он не осмелился отказать незнакомцу в его просьбе.

— Возьми, сколько тебе надо, — сказал он человеку.

Но огонь уже почти потух. Сучья и ветки давно сгорели, оставались лишь кроваво-красные угольев, и человек с заботой и недоумением думал о том, в чём донести ему горячие угольев.

Заметя затруднение незнакомца, пастух ещё раз повторил ему:

— Возьми, сколько тебе надо!

Он со злорадством думал, что человек не сможет взять огня. Но незнакомец нагнулся, голыми руками достал из пепла горячих углей и положил их в край своего плаща. И угольев не только не обожгли ему руки, когда он их доставал, но не прожгли и плаща, и незнакомец пошёл спокойно назад, как будто нёс в своём плаще не горячие угольев, а орехи или яблоки».

Тут снова не могла я удержаться, чтобы не спросить:

— Бабушка! Почему не обожгли угольев челове-

ка и не прожгли ему плащ?

— Ты скоро это узнаешь, — ответила бабушка и стала рассказывать дальше:

«Старый, угрюмый, злой пастух был поражён всем, что пришлось ему увидеть.

— Что это за ночь, — спрашивал он сам себя, — в которую собаки не кусаются, овцы не пугаются, палка не ударяет и огонь не жжёт?

Он окликнул незнакомца и спросил его:

— Что сегодня за чудесная ночь? И почему животные и предметы оказывают тебе милосердие?

— Я не могу тебе этого сказать, если ты сам не увидишь, — ответил незнакомец и пошёл своей дорогой, торопясь развести огонь, чтобы согреть Мать и Младенца.

Но пастух не хотел терять его из вида, пока не узнает, что всё это значит. Он встал, и пошёл за незнакомцем, и дошёл до его жилища.

Тут увидел пастух, что человек этот жил не в доме и даже не в хижине, а в пещере под скалой; стены пещеры были голы, из камня, и от них шёл сильный холод. Тут лежали Мать и Дитя.

Хотя пастух был чёрствым, суровым человеком, но ему стало жаль невинного младенца, который мог замёрзнуть в каменистой пещере, и старик решил помочь Ему. Он снял с плеч мешок,

развязал его, вынул мягкую, тёплую пушистую овечью шкурку и передал её незнакомцу, чтобы завернуть в неё Младенца.

Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может быть милосердным, открылись у него глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал то, что раньше не мог слышать.

Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они держат в руках арфы и громко поют, славословя родившегося в эту ночь Спасителя мира, который освободит людей от греха и смерти.

Тогда понял пастух, почему все животные и предметы в эту ночь были так добры и милосердны, что не хотели никому причинить вреда.

Ангелы были всюду: они окружали Младенца, сидели на горе, парили под небесами. Всюду было ликование и веселье, пение и музыка; тёмная ночь сверкала теперь множеством небесных огней, светилась ярким светом, исходившим от ослепительных одежд ангелов. И всё это увидел и услышал пастух в ту чудесную ночь, и так был рад, что открылись глаза и уши его, что упал на колени и поблагодарил Бога». Тут бабушка вздох-

нула и сказала:

— То, что увидел тогда пастух, могли бы и мы увидеть, потому что ангелы каждую Рождественскую ночь летают над землёю и славословят Спасителя, но если бы мы были достойны этого.

И бабушка положила свою руку мне на голову и сказала:

— Заметь себе, что это всё такая же правда, как то, что я тебя вижу, а ты меня. Ни свечи, ни лампады, ни солнце, ни луна не помогут человеку: только чистое сердце открывает очи, которыми может человек наслаждаться лицезрением красоты небесной.

Ханс Кристиан Андерсен. Девочка со спичками



Морозило, шёл снег, на улице становилось всё

темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытою головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последнею их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из неё выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки её совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у неё лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у неё ни спички — она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она всё дальше, дальше… Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на её прекрасные, вьющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями: был канун Нового года — вот об этом она думала.

Наконец она уселась в уголке, за выступом од-

ного дома, съёжилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало ещё холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной спички, не выручила ни гроша — отец прибьёт её! Да и не теплее у них дома! Только что крыша над головой, а ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки её совсем окоченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть её! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое тёплое, ясное, и, когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но… огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя её упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка уви-

дела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нём жареного гуся, начинённого черносливом и яблоками. Что за запах шёл от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг спрыгнул со стола и, как был с вилкою и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена.

Она зажгла ещё спичку и очутилась под великолепнейшею ёлкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Ёлка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пёстрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к ёлке обе ручонки, но спичка потухла, огоньки стали подниматься всё выше и выше и превратились в ясные звёздочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

— Вот кто-то умирает! — сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее её существо в мире, говорила ей: «Падает звёздочка — чья-нибудь душа идёт к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яр-

кий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окружённая сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая, её бабушка.

— Бабушка! — вскричала малютка. — Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдёшь, как только погаснет спичка, уйдёшь, как тёплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная ёлка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у неё в руках, — так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днём. Никогда ещё бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха: к Богу!

В холодный утренний час в углу за домом попрежнему сидела девочка с розовыми щёчками и улыбкой на устах, но мёртвая. Она замёрзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

— Она хотела погреться, бедняжка! — говорили люди. Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогод-

ним радостям на небо!

Александр Куприн. Бедный принц

I

Замечательно умно! — думает сердито девятилетний Даня Иевлев, лёжа животом на шкуре белого медведя и постукивая каблуком о каблук поднятых кверху ног. — Замечательно! Только большие и могут быть такими притворщиками. Сами заперли меня в тёмную гостиную, а сами развлекаются тем, что увешивают ёлку. А от меня требуют, чтобы я делал вид, будто ни о чём не догадываюсь. Вот они какие — взрослые!»

На улице горит газовый фонарь, и золотит морозные разводы на стёклах, и, скользя сквозь листья латаний и фикусов, стелет лёгкий золотистый узор на полу. Слабо блестит в полутьме изогнутый бок рояля.

«Да и что весёлого, по правде сказать, в этой ёлке? — продолжает размышлять Даня. — Ну, придут знакомые мальчики и девочки и будут притворяться, в угоду большим, умными и воспитанными детьми… За каждым гувернантка

или какая-нибудь старенькая тётя… Заставят говорить всё время по-английски… Затеют какую-нибудь прескучную игру, в которой непременно нужно называть имена зверей, растений или городов, а взрослые будут вмешиваться и поправлять маленьких. Велят ходить цепью вокруг ёлки и что-нибудь петь и для чего-то хлопать в ладоши, потом все усядутся под ёлкой, и дядя Ника прочитает вслух ненатуральным, актёрским, “давлючим”, как говорит Сонина няня, голосом рассказ о бедном мальчике, который замерзает на улице, глядя на роскошную ёлку богача. А потом подарят готовальню, глобус и детскую книжку с картинками… А коньков или лыж уж наверно не подарят… И пошлют спать.

Нет, ничего не понимают эти взрослые. Вот и папа… он самый главный человек в городе и, конечно, самый учёный… недаром его называют городской головой… Но и он мало чего понимает. Он до сих пор думает, что Даня маленький ребёнок, а как бы он удивился, узнав, что Даня давным-давно уже решился стать знаменитым авиатором и открыть оба полюса. У него уже и план летающего корабля готов, нужно только достать где-нибудь гибкую стальную полосу, резиновый шнур и большой, больше дома, шёл-

ковый зонтик. Именно на таком аэроплане Даня чудесно летает по ночам во сне».

Мальчик лениво встал с медведя, подошёл, волоча ноги, к окну, подышал на фантастические морозные леса из пальм, потёр рукавом стекло. Он худощавый, но стройный и крепкий ребёнок. На нём коричневая из рубчатого бархата курточка, такие же штанишки по колено, чёрные гетры и толстые штиблеты на шнурках, отложной крахмальный воротник и белый галстук. Светлые, короткие и мягкие волосы расчёсаны, как у взрослого, английским прямым пробором. Но его милое лицо мучительно бледно, и это происходит от недостатка воздуха: чуть ветер немного посильнее или мороз больше шести градусов, Даню не выпускают гулять. А если и поведут на улицу, то полчаса перед этим укутывают: гамаши, меховые ботики, тёплый оренбургский платок на грудь, шапка с наушниками, башлычок, пальто на гагачьем пуху, беличьи перчатки, муфта… опротивеет и гулянье! И непременно ведёт его за руку, точно маленького, длинная мисс Дженерс со своим красным висячим носом, поджатым прыщавым ртом и рыбьими глазами. А в это время летят вдоль тротуара на одном деревянном коньке весёлые, краснощёкие, с потными

счастливыми лицами, уличные мальчишки, или катают друг друга на салазках, или, отломив от водосточной трубы сосульку, сочно, с хрустением жуют её. Боже мой! Хотя бы раз в жизни попробовать сосульку. Должно быть, изумительный вкус. Но разве это возможно! «Ах, простуда! Ах, дифтерит! Ах, микроб! Ах, гадость!»

«Ох, уж эти мне женщины! — вздыхает Даня, серьёзно повторяя любимое отцовское восклицание. — Весь дом полон женщинами — тётя Катя, тётя Лиза, тётя Нина, мама, англичанка… женщины, ведь это те же девчонки, только старые… Ахают, суетятся, любят целоваться, всего пугаются — мышей, простуды, собак, микробов… И Даню тоже считают точно за девочку… Это его-то! Предводителя команчей, капитана пиратского судна, а теперь знаменитого авиатора и великого путешественника! Нет! Вот назло возьму, насушу сухарей, отолью в пузырёк папиного вина, скоплю три рубля и убегу тайком юнгой на парусное судно. Денег легко собрать. У Дани всегда есть карманные деньги, предназначенные на дела уличной благотворительности».

Нет, нет, всё это мечты, одни мечты… С большими ничего не поделаешь, а с женщинами тем более. Сейчас же схватятся и отнимут. Вот

нянька говорит часто: «Ты наш принц». И правда, Даня, когда был маленький, думал, что он — волшебный принц, а теперь вырос и знает, что он бедный, несчастный принц, заколдованный жить в скучном и богатом царстве.

II

Окно выходит в соседний двор. Странный, необычный огонь, который колеблется в воздухе из стороны в сторону, поднимается и опускается, исчезает на секунду и опять показывается, вдруг остро привлекает внимание Дани. Продышав ртом на стекле дыру побольше, он приникает к ней глазами, закрывшись ладонью, как щитом, от света фонаря. Теперь на белом фоне свежего, только что выпавшего снега он ясно различает небольшую, тесно сгрудившуюся кучку ребятишек. Над ними на высокой палке, которой не видно в темноте, раскачивается, точно плавает в воздухе, огромная разноцветная бумажная звезда, освещённая изнутри каким-то скрытым огнём.

Даня хорошо знает, что всё это — детвора из соседнего бедного и старого дома, «уличные мальчишки» и «дурные дети», как их называют взрослые: сыновья сапожников, дворников и

прачек. Но Данино сердце холодеет от зависти, восторга и любопытства. От няньки он слыхал о местном древнем южном обычае: под Рождество дети в складчину устраивают звезду и вертеп, ходят с ними по домам — знакомым и незнакомым, — поют колядки и рождественские кантики и получают за это в виде вознаграждения ветчину, колбасу, пироги и всякую медную монету.

Безумно смелая мысль мелькает в голове Дани, — настолько смелая, что он на минуту даже прикусывает нижнюю губу, делает большие, испуганные глаза и съёживается. Но разве в самом деле он не авиатор и не полярный путешественник? Ведь рано или поздно придётся же откровенно сказать отцу: «Ты, папа, не волнуйся, пожалуйста, а я сегодня отправляюсь на своём аэроплане через океан». Сравнительно с такими страшными словами, одеться потихоньку и выбежать на улицу — сущие пустяки. Лишь бы только, на его счастье, старый толстый швейцар не торчал в передней, а сидел бы у себя в каморке под лестницей.

Пальто и шапку он находит в передней ощупью, возясь бесшумно в темноте. Нет ни гамаш, ни перчаток, но ведь он только на одну минутку! Довольно трудно справиться с американским

механизмом замка. Нога стукнулась о дверь, гул пошёл по всей лестнице. Слава богу, ярко освещённая передняя пуста. Задержав дыхание, с бьющимся сердцем, Даня, как мышь, проскальзывает в тяжёлые двери, едва приотворив их, и вот он на улице! Чёрное небо, белый, скользкий нежный, скрипящий под ногами снег, беготня света и теней под фонарём на тротуаре, вкусный запах зимнего воздуха, чувство свободы, одиночества и дикой смелости — всё это как сон!..

III

«Дурные дети» как раз выходили из калитки соседнего дома, когда Даня выскочил на улицу. Над мальчиками плыла звезда, вся светившаяся красными, розовыми и жёлтыми лучами, а самый маленький из колядников нёс на руках освещённый изнутри, сделанный из картона и разноцветной папиросной бумаги домик — «вертеп Господень». Этот малыш был не кто иной, как сын иевлевского кучера. Даня не знал его имени, но помнил, что этот мальчуган нередко вслед за отцом с большой серьёзностью снимал шапку, когда Дане случалось проходить мимо каретного сарая или конюшни.

Звезда поравнялась с Даней. Он нерешительно

посопел и сказал баском:

— Господа, примите и меня-а-а…

Дети остановились. Помолчали немного. Кто-то сказал сиплым голосом:

— А на кой ты нам ляд?!

И тогда все заговорили разом:

— Иди, иди… Нам с тобой не велено водиться…

— И не треба…

— Тоже ловкий… мы по восьми копеек сложились…

— Хлопцы, да это же иевлевский паныч, Гаранька, это — ваш?..

— Наш!.. — с суровой стыдливостью подтвердил мальчишка кучера.

— Проваливай! — решительно сказал первый, осипший мальчик. — Нема тут тебе компании…

— Сам проваливай, — рассердился Даня, — здесь улица моя, а не ваша!

— И не твоя вовсе, а казённая.

— Нет, моя. Моя и папина.

— А вот я тебе дам по шее, — тогда узнаешь, чья улица…

— А не смеёшь!.. Я папе пожалуюсь… А он тебя высекет…

— А я твоего папу ни на столечко вот не боюсь… Иди, иди, откудова пришёл. У нас дело

товарискоe. Ты небось денег на звезду не давал, а лезешь…

— Я и хотел вам денег дать… целых пятьдесят копеек, чтобы вы меня приняли… А теперь вот не дам!..

— И всё ты врёшь!.. Нет у тебя никаких пятьдесят копеек.

— А вот нет — есть!..

— Покажи!.. Всё ты врёшь…

Даня побренчал деньгами в кармане.

— Слышишь?..

Мальчики замолчали в раздумье.

Наконец сиплый высморкался двумя пальцами и сказал:

— Ну-к что ж… Давай деньги — иди в компанию. Мы думали, что ты так, нашармака хочешь!.. Петь можешь?..

— Чего?..

— А вот «Рождество Твоё, Христе Боже наш»… колядки Ещё тоже…

— Могу, — сказал решительно Даня.

IV

Чудесный был этот вечер. Звезда останавливалась перед освещёнными окнами, заходила во все дворы, спускалась в подвалы, лазила на

чердаки. Остановившись перед дверью, предводитель труппы — тот самый рослый мальчишка, который недавно побранился с Даней, — начинал сиплым и гнусавым голосом:

Рождество Твоё, Христе Боже наш…

И остальные десять человек подхватывали вразброд, не в тон, но с большим воодушевлением:

Воссия мирови свет разума…

Иногда дверь отворялась, и их пускали в переднюю. Тогда они начинали длинную, почти бесконечную колядку о том, как шла царевна на крутую гору, как упала с неба звезда-красна, как Христос народился, а Ирод сомутился. Им выносили отрезанное щедрой рукой кольцо колбасы, яиц, хлеба, свиного студня, кусок телятины. В другие дома их не пускали, но высылали несколько медных монет. Деньги прятались предводителем в карман, а съестные припасы складывались в один общий мешок. В иных же домах на звуки пения быстро распахивались двери, выскакивала какая-нибудь рыхлая толстая баба с веником и кричала грозно:

— Вот я вас, лайдаки, голодранцы паршивые… Гэть!.. Кыш до дому!

Один раз на них накинулся огромный городо-

вой, закутанный в остроконечный башлык, из отверстия которого торчали белые, ледяные усы:

— Що вы тут, стрекулисты, шляетесь?.. Вот я вас в участок!.. По какому такому праву?.. А?..

И он затопал на них ногами и зарычал зверским голосом.

Как стая воробьёв после выстрела, разлетелись по всей улице маленькие христославщики. Высоко прыгала в воздухе, чертя огненный след, красная звезда. Дане было жутко и весело скакать галопом от погони, слыша, как его штиблеты стучат, точно копыта дикого мустанга, по скользкому и неверному тротуару. Какой-то мальчишка, в шапке по самые уши, перегоняя, толкнул его неловко боком, и оба с разбега ухнули лицом в высокий сугроб. Снег сразу набился Дане в рот и в нос. Он был нежен и мягок, как холодный невесомый пух, и прикосновение его к пылавшим щекам было свежо, щекотно и сладостно.

Только на углу мальчики остановились. Городовой и не думал за ними гнаться.

Так они обошли весь квартал. Заходили к лавочникам, к подвальным жителям, в дворницкие. Благодаря тому, что выхоленное лицо и изящный костюм Дани обращали общее внимание, он старался держаться позади. Но пел он, кажет-

ся, усерднее всех, с разгоревшимися щеками и блестящими глазами, опьянённый воздухом, движением и необыкновенностью этого ночного бродяжничества. В эти блаженные, весёлые, живые минуты он совершенно искренно забыл и о позднем времени, и о доме, и о мисс Дженерс, и обо всём на свете, кроме волшебной колядки и красной звезды. И с каким наслаждением ел он на ходу кусок толстой холодной малороссийской колбасы с чесноком, от которой мёрзли зубы. Никогда в жизни не приходилось ему есть ничего более вкусного!

И потому при выходе из булочной, где звезду угостили тёплыми витушками и сладкими кренделькими, он только слабо и удивлённо ахнул, увидя перед собою нос к носу тётю Нину и мисс Дженерс в сопровождении лакея, швейцара, няньки и горничной.

— Слава тебе господи, нашёлся наконец!.. Боже мой, в каком виде! Без калош и без башлыка! Весь дом с ног сбился из-за тебя, противный мальчишка!

Славильщиков давно уже не было вокруг. Как недавно от городового, так и теперь они прыснули в разные стороны, едва только почуяли опасность, и вдали слышался лишь дробный звук

их торопливых ног.

Тётя Нина — за одну руку, мисс Дженерс — за другую повели беглеца домой. Мама была в слезах — бог знает какие мысли приходили ей за эти два часа, когда все домашние, потеряв головы, бегали по всем закоулкам дома, по соседям и по ближним улицам. Отец напрасно притворялся разгневанным и суровым и совсем неудачно скрывал свою радость, увидев сына живым и невредимым. Он не меньше жены был взволнован исчезновением Дани и уже успел за это время поставить на ноги всю городскую полицию.

С обычной прямотой Даня подробно рассказал свои приключения. Ему пригрозили назавтра тяжёлым наказанием и послали переодеться.

Он вышел к своим маленьким гостям вымытый, свежий, в новом красивом костюме. Щёки его горели от недавнего возбуждения, и глаза весело блестели после мороза. Очень скучно было притворяться благовоспитанным мальчиком, с хорошими манерами и английским языком, но, добросовестно заглаживая свою недавнюю вину, он ловко шаркал ножкой, целовал ручку у пожилых дам и снисходительно развлекал самых маленьких малышей.

— А ведь Дане полезен воздух, — сказал отец,

наблюдавший за ним издали, из кабинета. — Вы дома его слишком много держите взаперти. Посмотрите, мальчик пробегался, и какой у него здоровый вид! Нельзя держать мальчика всё время в вате.

Но дамы так дружно накинулись на него и наговорили сразу такую кучу ужасов о микробах, дифтеритах, ангинах и о дурных манерах, что отец только замахал руками и воскликнул, весь сморщившись:

— Довольно, довольно! Будет… будет… Делайте, как хотите… Ох, уж эти мне женщины!..

Александр Грин. Новогодний праздник отца и маленькой дочери

I

В городе Коменвиль, не блещущем ни чистотой, ни торговой бойкостью, ни всем тем, что являет раздражающий, угловатый блеск больших или же живущих лихорадочно городов, поселился ради тишины и покоя учёный Эгмонд Дрэп.

Здесь лет пятнадцать назад начал он писать двухтомное учёное исследование.

Идея этого сочинения овладела им, когда он был ещё студентом. Дрэп вёл полунищенскую жизнь, отказывал себе во многом, так как не имел состояния; его случайный заработок выражался маленькими цифрами гонорара за мелкие переводы и корреспонденции; всё свободное время, тщательно оберегая его, он посвящал своему труду, забывая часто о еде и сне. Постепенно дошёл он до того, что не интересовался уже ничем, кроме сочинения и своей дочери Тавинии Дрэп. Она жила у родственников.

Ей было шесть лет, когда умерла мать. Раз или два в год её привозила к нему старуха с орлиным носом, смотревшая так, как будто хотела повесить Дрэпа за его нищету и рассеянность, за все те внешние проявления пылающего внутреннего мира, которые видела в образе трубочного пепла и беспорядка, смахивающего на разрушение.

Год от году беспорядок в тесной квартире Дрэпа увеличивался, принимал затейливые очертания сна или футуристического рисунка со смешением разнородных предметов в противоестественную коллекцию, но увеличивалась также и стопа его рукописи, лежащей в среднем отделении небольшого шкапа. Давно уже терпела она соседство всякого хлама.

Скомканные носовые платки, сапожные щётки, книги, битая посуда, какие-то рамки и фотографии и много других вещей, покрытых пылью, валялось на широкой полке, среди тетрадей, блокнотов или просто перевязанных бечёвкой разнообразных обрывков, на которых в нетерпении разыскать приличную бумагу нервный и рассеянный Дрэп писал свои внезапные озарения.

Года три назад, как бы опомнясь, он сговорился с женой швейцара: она должна была за

некоторую плату раз в день производить уборку квартиры. Но раз Дрэп нашёл, что порядок или, вернее, привычное смешение предметов на его письменном столе перешло в уродливую симметрию, благодаря которой он тщетно разыскивал заметки, сделанные на манжетах, прикрытых, для неподвижности, бронзовым массивным орлом, и, уследив, наконец, потерю в корзине с грязным бельём, круто разошёлся с наёмницей, хлопнув напослед дверью, в ответ чему выслушал запальчивое сомнение в благополучном состоянии своих умственных способностей. После этого Дрэп боролся с жизнью один.

II

Смеркалось, когда, надев шляпу и пальто, Дрэп заметил наконец, что долго стоит перед шкапом, усиливаясь вспомнить, что хотел сделать. Ему это удалось, когда он взглянул на телеграмму.

«Мой дорогой папа, — значилось там, — я буду сегодня в восемь. Целую и крепко прижимаюсь к тебе. Тави». Дрэп вспомнил, что собрался на вокзал.

Два дня назад была им сунута в шкап мелкая ассигнация, последние его деньги, на которые рассчитывал он взять извозчика, а также купить

чего-либо съестного. Но он забыл, куда сунул её, некстати задумавшись перед тем о тридцать второй главе; об этой же главе думал он и теперь, пока текст телеграммы не разорвал привычные чары. Он увидел милое лицо Тави и засмеялся.

Теперь все его мысли были о ней. С судорожным нетерпением бросился он искать деньги, погрузив руки во внутренности третьей полки, куда складывал всё исписанное.

Упругие слои бумаги сопротивлялись ему. Быстро осмотрясь, куда сложить всё это, Дрэп выдвинул из-под стола сорную корзину и стал втискивать в неё рукописи, иногда останавливаясь, чтобы пробежать случайно мелькнувшую на обнажённой странице фразу или проверить ход мыслей, возникших годы назад в связи с этим трудом.

Когда Дрэп начинал думать о своей работе или же просто вспоминал её, ему казалось, что не было совсем в его жизни времени, когда не было бы в его душе или на его столе этой работы. Она родилась, росла, развивалась и жила с ним, как развивается и растёт человек. Для него была подобна она радуге, скрытой пока туманом напряжённого творчества, или же видел он её в образе золотой цепи, связывающей берега без-

дны; ещё представлял он её громом и вихрем, сеющим истину. Он и она были одно.

Он разыскал ассигнацию, застрявшую в пустой сигарной коробке, взглянул на часы и, увидев, что до восьми осталось всего пять минут, выбежал на улицу.

III

Через несколько минут после этого Тави Дрэп была впущена в квартиру отца мрачным швейцаром.

— Он уехал, барышня, — сказал он, входя вместе с девочкой, синие глаза которой отыскали тень улыбки в бородатом лице, — он уехал и, я думаю, отправился встречать вас. А вы, знаете, выросли.

— Да, время идёт, — согласилась Тави с сознанием, что четырнадцать лет — возраст уже почтенный. На этот раз она приехала одна, как большая, и скромно гордилась этим. Швейцар вышел.

Девочка вошла в кабинет.

— Это конюшня, — сказала она, подбирая в горестном изумлении своём какое-нибудь сильное сравнение тому, что увидела. — Или невыметенный амбар. Как ты одинок, папа, труженик мой! А завтра ведь Новый год!

Вся трепеща от любви и жалости, она сняла своё хорошенькое шёлковое пальто, расстегнула и засучила рукава. Через мгновение захлопали и застучали бесчисленные увесистые томы, решительно сброшенные ею в угол отовсюду, где только находила она их в ненадлежащем месте. Была открыта форточка; свежий воздух прозрачной струёй потёк в накуренную до темноты, нетопленую, сырую комнату.

Тави разыскала скатерть, спешно перемыла посуду; наконец, затопила камин, набив его туго сорной бумагой, вытащенной из корзины, сором и остатками угля, разысканного на кухне; затем вскипятила кофе. С ней была её дорожная провизия, и она разложила её покрасивее на столе. Так хлопоча, улыбалась и напевала она, представляя, как удивится Дрэп, как будет ему приятно и хорошо.

Между тем, завидев в окне свет, он, подходя к дому, догадался, что его маленькая, добрая Тави уже приехала и ожидает его, что они разминулись. Он вошёл неслышно. Она почувствовала, что на её лицо, закрыв сзади глаза, легли большие, сильные и осторожные руки, и, обернувшись, порывисто обняла его, прижимая к себе и теребя, как ребёнка.

— Папа, ты, — детка мой, измучилась без тебя! — кричала она, пока он гладил и целовал дочь, жадно всматриваясь в это хорошенькое, нервное личико, сияющее ему всей радостью встречи.

— Боже мой, — сказал он, садясь и снова обнимая её, — полгода я не видел тебя. Хорошо ли ты ехала?

— Прекрасно. Прежде всего, меня отпустили одну, поэтому я могла наслаждаться жизнью без воркотни старой Цецилии. Но, представь, мне всё-таки пришлось принять массу услуг от посторонних людей. Почему это? Но слушай: ты ничего не видишь?

— Что же? — сказал, смеясь, Дрэп. — Ну, вижу тебя.

— А ещё?

— Что такое?

— Глупый, рассеянный, учёный дикарь, да посмотри же внимательнее!

Теперь он увидел.

Стол был опрятно накрыт чистой скатертью, с расставленными на нём приборами; над кофейником вился пар; хлеб, фрукты, сыр и куски стремительно нарезанного паштета являли картину, совершенно не похожую на его обычную манеру есть расхаживая или стоя, с книгой перед

глазами. Пол был выметен, и мебель расставлена поуютнее. В камине пылало его случайное топливо.

— Понимаешь, что надо было торопиться, поэтому всё вышло, как яичница, но завтра я возьму всё в руки и всё будет блестеть.

Тронутый Дрэп нежно посмотрел на неё, затем взял её перепачканные руки и похлопал ими одна о другую.

— Ну, будем теперь выколачивать пыль из тебя. Где же ты взяла дров?

— Я нашла на кухне немного угля.

— Вероятно, какие-нибудь крошки.

— Да, но тут было столько бумаги. В той корзине.

Дрэп, не понимая ещё, пристально посмотрел на неё, смутно встревоженный.

— В какой корзине, ты говоришь? Под столом?

— Ну да же! Ужас тут было хламу, но горит он неважно.

Тогда он вспомнил и понял.

IV

Он стал разом седеть, и ему показалось, что наступил внезапный мрак. Не сознавая, что делает, он протянул руку к электрической лампе

и повернул выключатель. Это спасло девочку от некоего момента в выражении лица Дрэпа, — выражения, которого она уже не могла бы забыть. Мрак хватил его по лицу и вырвал сердце.

Несколько мгновений казалось ему, что он неудержимо летит к стене, разбиваясь о её камень бесконечным ударом.

— Но, папа, — сказала удивлённая девочка, возвращая своей бестрепетной рукой яркое освещение, — неужели ты такой любитель потёмок? И где ты так припылил волосы?

Если Дрэп в эти мгновения не помешался, то лишь благодаря счастливому свежему голосу, рассёкшему его состояние нежной чертой. Он посмотрел на Тави. Прижав сложенные руки к щеке, она воззрилась на него с улыбкой и трогательной заботой. Её светлый внутренний мир был защищён любовью.

— Хорошо ли тебе, папа? — сказала она. — Я торопилась к твоему приходу, чтобы ты отдохнул. Но отчего ты плачешь? Не плачь, мне горько!

Дрэп ещё пыхтел, разбиваясь и корчась в муках неслышного стона, но сила потрясения перевела в его душу с яркостью дня всё краткое удовольствие ребёнка видеть его в чистоте и тепле, и он нашёл силу заговорить.

— Да, — сказал он, отнимая от лица руки, — я больше не пролью слёз. Это смешно, что есть движения сердца, за которые стоит, может быть, заплатить целой жизнью. Я только теперь понял это. Работая, — а мне понадобится ещё лет пять, — я буду вспоминать твоё сердце и заботливые твои ручки. Довольно об этом.

— Ну, вот мы и дома!

Фёдор Достоевский. Мальчик у Христа на ёлке



I. Мальчик *с* ручкой

Дети странный народ, они снятся и мерещатся. Перед ёлкой и в самую ёлку перед Рождеством я всё встречал на улице, на известном углу, одного мальчишку, никак не более как лет семи. В страшный мороз он был одет почти по-летнему, но шея у него была обвязана каким-то старьём, — значит его всё же кто-то снаряжал, посылая. Он ходил «с ручкой»; это технический термин, значит — просить милостыню. Термин выдумали сами эти мальчики. Таких, как он, множество, они вертятся на вашей дороге и завывают что-то заученное; но этот не завывал и говорил как-то невинно и непривычно и доверчиво смотрел мне в глаза, — стало быть, лишь начинал профессию. На расспросы мои он сообщил, что у него сестра, сидит без работы, больная; может, и правда, но только я узнал потом, что этих мальчишек тьма-тьмущая: их высылают «с ручкой» хотя бы в самый страшный мороз, и если ничего не наберут, то наверно их ждут побои. Набрав копеек, мальчик возвращается с красными, окоченевшими руками в какой-нибудь подвал, где пьянствует какая-нибудь шайка халатников, из тех самых, которые, «забастовав на фабрике под воскресе-

нье в субботу, возвращаются вновь на работу не ранее как в среду вечером». Там, в подвалах, пьянствуют с ними их голодные и битые жёны, тут же пищат голодные грудные их дети. Водка, и грязь, и разврат, а главное, водка. С набранными копейками мальчишку тотчас же посылают в кабак, и он приносит ещё вина. В забаву и ему иногда нальют в рот косушку и хохочут, когда он, с пресёкшимся дыханием, упадёт чуть не без памяти на пол.

…и в рот мне водку сквернуюБезжалостно вливал…

Когда он подрастёт, его поскорее сбывают куда-нибудь на фабрику, но всё, что он заработает, он опять обязан приносить к халатникам, а те опять пропивают. Но уж и до фабрики эти дети становятся совершенными преступниками. Они бродяжат по городу и знают такие места в разных подвалах, в которые можно пролезть и где можно переночевать незаметно. Один из них ночевал несколько ночей сряду у одного дворника в какой-то корзине, и тот его так и не замечал. Само собою, становятся воришками. Воровство обращается в страсть даже у восьмилетних детей, иногда даже без всякого сознания о преступности

действия. Под конец переносят всё — голод, холод, побои, — только за одно, за свободу, и убегают от своих халатников бродяжить уже от себя. Это дикое существо не понимает иногда ничего, ни где он живёт, ни какой он нации, есть ли Бог, есть ли государь; даже такие передают об них вещи, что невероятно слышать, и, однако же, всё факты.

II. Мальчик у Христа на ёлке

Но я романист, и, кажется, одну «историю» сам сочинил. Почему я пишу: «кажется», ведь я сам знаю наверно, что сочинил, но мне всё мерещится, что это где-то и когда-то случилось, именно это случилось как раз накануне рождества, в каком-то огромном городе и в ужасный мороз.

Мерещится мне, был в подвале мальчик, но ещё очень маленький, лет шести или даже менее. Этот мальчик проснулся утром в сыром и холодном подвале. Одет он был в какой-то халатик и дрожал. Дыхание его вылетало белым паром, и он, сидя в углу на сундуке, от скуки нарочно пускал этот пар изо рта и забавлялся, смотря, как он вылетает. Но ему очень хотелось кушать. Он несколько раз с утра подходил к нарам, где на тонкой, как блин, подстилке и на каком-то узле под головой вместо подушки лежала больная

мать его. Как она здесь очутилась? Должно быть, приехала со своим мальчиком из чужого города и вдруг захворала. Хозяйку углов захватили ещё два дня тому в полицию; жильцы разбрелись, дело праздничное, а оставшийся один халатник уже целые сутки лежал мёртво пьяный, не дождавшись и праздника. В другом углу комнаты стонала от ревматизма какая-то восьмидесятилетняя старушонка, жившая когда-то и где-то в няньках, а теперь помиравшая одиноко, охая, брюзжа и ворча на мальчика, так что он уже стал бояться подходить к её углу близко. Напиться-то он где-то достал в сенях, но корочки нигде не нашёл и раз в десятый уже подходил разбудить свою маму. Жутко стало ему, наконец, в темноте: давно уже начался вечер, а огня не зажигали. Ощупав лицо мамы, он подивился, что она совсем не двигается и стала такая же холодная, как стена. «Очень уж здесь холодно», — подумал он, постоял немного, бессознательно забыв свою руку на плече покойницы, потом дохнул на свои пальчики, чтоб отогреть их, и вдруг, нашарив на нарах свой картузишко, потихоньку, ощупью, пошёл из подвала. Он ещё бы и раньше пошёл, да всё боялся вверху, на лестнице, большой собаки, которая выла весь день у соседских дверей. Но

собаки уже не было, и он вдруг вышел на улицу.

Господи, какой город! Никогда ещё он не видал ничего такого. Там, откудова он приехал, по ночам такой чёрный мрак, один фонарь на всю улицу. Деревянные низенькие домишки запираются ставнями; на улице, чуть смеркнется — никого, все затворяются по домам, и только завывают целые стаи собак, сотни и тысячи их, воют и лают всю ночь. Но там было зато так тепло и ему давали кушать, а здесь — Господи, кабы покушать! И какой здесь стук и гром, какой свет и люди, лошади и кареты, и мороз, мороз! Мёрзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни подковы, и все так толкаются, и, Господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало вдруг пальчикам. Мимо прошёл блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика.

Вот и опять улица, — ох какая широкая! Вот здесь так раздавят наверно; как они все кричат, бегут и едут, а свету-то, свету-то! А это что? Ух, какое большое стекло, а за стеклом комната, а в комнате дерево до потолка; это ёлка, а на ёлке сколько огней, сколько золотых бумажек и яблоков, а кругом тут же куколки, маленькие

лошадки; а по комнате бегают дети, нарядные, чистенькие, смеются и играют, и едят, и пьют что-то. Вот эта девочка начала с мальчиком танцевать, какая хорошенькая девочка! Вот и музыка, сквозь стекло слышно. Глядит мальчик, дивится, уж и смеётся, а у него болят уже пальчики и на ножках, а на руках стали совсем красные, уж не сгибаются и больно пошевелить. И вдруг вспомнил мальчик про то, что у него так болят пальчики, заплакал и побежал дальше, и вот опять видит он сквозь другое стекло комнату, опять там деревья, но на столах пироги, всякие — миндальные, красные, жёлтые, и сидят там четыре богатые барыни, а кто придёт, они тому дают пироги, а отворяется дверь поминутно, входит к ним с улицы много господ. Подкрался мальчик, отворил вдруг дверь и вошёл. Ух, как на него закричали и замахали! Одна барыня подошла поскорее и сунула ему в руку копеечку, а сама отворила ему дверь на улицу. Как он испугался! А копеечка тут же выкатилась и зазвенела по ступенькам: не мог он согнуть свои красные пальчики и придержать её. Выбежал мальчик и пошёл поскорей-поскорей, а куда, сам не знает. Хочется ему опять заплакать, да уж боится, и бежит, бежит и на ручки дует. И тоска берёт его,

потому что стало ему вдруг так одиноко и жутко, и вдруг, Господи! Да что ж это опять такое? Стоят люди толпой и дивятся: на окне за стеклом три куклы, маленькие, разодетые в красные и зелёные платьица и совсем-совсем как живые! Какой-то старичок сидит и будто бы играет на большой скрипке, два других стоят тут же и играют на маленьких скрипочках, и в такт качают головками, и друг на друга смотрят, и губы у них шевелятся, говорят, совсем говорят, — только вот из-за стекла не слышно. И подумал сперва мальчик, что они живые, а как догадался совсем, что это куколки, — вдруг рассмеялся. Никогда он не видал таких куколок и не знал, что такие есть! И плакать-то ему хочется, но так смешно-смешно на куколок. Вдруг ему почудилось, что сзади его кто-то схватил за халатик: большой злой мальчик стоял подле и вдруг треснул его по голове, сорвал картуз, а сам снизу поддал ему ножкой. Покатился мальчик наземь, тут закричали, обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда, в подворотню, на чужой двор, — и присел за дровами: «Тут не сыщут, да и темно».

Присел он и скорчился, а сам отдышаться не может от страху и вдруг, совсем вдруг, стало так ему хорошо: ручки и ножки вдруг перестали

болеть и стало так тепло, так тепло, как на печке; вот он весь вздрогнул: ах, да ведь он было заснул! Как хорошо тут заснуть: «Посижу здесь и пойду опять посмотреть на куколок, — подумал мальчик и усмехнулся, вспомнив про них, — совсем как живые!..» И вдруг ему послышалось, что над ним запела его мама песенку. «Мама, я сплю, ах, как тут спать хорошо!»

— Пойдём ко мне на ёлку, мальчик, — прошептал над ним вдруг тихий голос. Он подумал было, что это всё его мама, но нет, не она; кто же это его позвал, он не видит, но кто-то нагнулся над ним и обнял его в темноте, а он протянул ему руку и… и вдруг, — о, какой свет! О, какая ёлка! Да и не ёлка это, он и не видал ещё таких деревьев! Где это он теперь: всё блестит, всё сияет и кругом всё куколки, — но нет, это всё мальчики и девочки, только такие светлые, все они кружатся около него, летают, все они целуют его, берут его, несут с собою, да и сам он летит, и видит он: смотрит его мама и смеётся на него радостно.

— Мама! Мама! Ах, как хорошо тут, мама! — кричит ей мальчик, и опять целуется с детьми, и хочется ему рассказать им поскорее про тех куколок за стеклом.

— Кто вы, мальчики? Кто вы, девочки? — спра-

шивает он, смеясь и любя их.

— Это «Христова ёлка», — отвечают они ему. — У Христа всегда в этот день ёлка для маленьких деточек, у которых там нет своей ёлки… — И узнал он, что мальчики эти и девочки всё были всё такие же, как он, дети, но одни замёрзли ещё в своих корзинах, в которых их подкинули на лестницы к дверям петербургских чиновников, другие задохлись у чухонок, от воспитательного дома на прокормлении, третьи умерли у иссохшей груди своих матерей, во время самарского голода, четвёртые задохлись в вагонах третьего класса от смраду, и все-то они теперь здесь, все они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их грешных матерей… А матери этих детей все стоят тут же, в сторонке, и плачут; каждая узнаёт своего мальчика или девочку, а они подлетают к ним и целуют их, утирают им слёзы своими ручками и упрашивают их не плакать, потому что им здесь так хорошо…

А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замёрзшего за дровами мальчика; разыскали и его маму… Та умерла ещё прежде его; оба свиделись у Господа Бога в небе.

И зачем же я сочинил такую историю, так не

идущую в обыкновенный разумный дневник, да ещё писателя? А ещё обещал рассказы преимущественно о событиях действительных! Но вот в том-то и дело, мне всё кажется и мерещится, что всё это могло случиться действительно, — то есть то, что происходило в подвале и за дровами, а там о ёлке у Христа — уж и не знаю, как вам сказать, могло ли оно случиться, или нет? На то я и романист, чтоб выдумывать.

Софья Толстая. Куколки – скелетцы



Посреди главной улицы города Т… была небольшая игрушечная лавка старичка Сушкина. Добрый старичок с бритым лицом, покрытым мелкими морщинками, часто сидел на скамеечке перед своей лавкой, ласково кланялся знакомым детям и зазывал их что-нибудь купить или просто посмотреть на игрушки и поболтать.

Сам он не продавал, а был у него в лавке мальчик Саша, проворный и плутоватый юный приказчик. Он показывал игрушки, завёртывал их, торговался с покупателями, запрашивал большую цену, уступал и любил разговаривать с господами. Когда долго не бывало покупателей или хозяин уходил из лавки, Саша выбирал лучшую гармонию и играл много разных пьес. Знакомые дети, гуляя по главной улице со своими гувернантками и нянями, любили заходить в игрушечную лавку и слушать Сашины пьесы.

— «Трепака» сыграйте, Александр Иванович, — просили дети, — или «Барыню», или «Сени мои сени», — и Саша играл, махая головой и пристукивая ножкой. Он играл и «Польку-венгерку», и «Вот мчится тройка удалая», и много других вещей.

Подходило Рождество. Старик Сушкин заказал игрушки к праздникам, и понемногу подвозили к его лавке с железной дороги, с фабрик и из

деревень всякие игрушки, дорогие и дешёвые, картонажи, фонари, точёные деревянные куколки, картонные и другие лошадки.

Молоденькому приказчику Саше уже не было времени играть на гармонии. Он весь день работал, раскладывал по шкапам и витринам хорошенькие вещицы; на полки ставились барабаны, звери, ящики с посудой и кирпичиками. На полу расставил Саша больших лошадок с гривой и без гривы, с сёдлами или шлеёй для упряжи; тут же он нагромоздил разные экипажи, тележки всех фасонов и кроватки для кукол. А дудочки, фонари, ружья, кнуты и другие вещи развесил по стенам.

— Ну, слава Богу, немного разобрался, — сказал Саша старичку Сушкину, — теперь ярлычки навяжу.

— А это ещё что? — спросил хозяин.

— Совсем было забыл: это из деревни привёз мужик своё изделье, я по копейке купил у него этих кукол, так себе, скелетцы раздетые, ну просто дрянь. Вот сюда их бросить, в пустой ящик.

И Саша высыпал несколько десятков деревянных кукол в пустой ящик под полкой и задвинул его. Скелетцы загремели, насыпаясь один на другого. Их деревянные чёрные глянцевитые го-

ловки забились друг о друга; ручки, приделанные на тряпочках, перепутались; прямые деревянные ножки с накрашенными розовыми башмачками торчали неловко во все стороны. Скелетцам было темно, тесно, скучно и неловко лежать в ящике, и скоро о них забыли.

Недалеко от города Т..., в сельце Красные Поля, было большое волнение не только в барском доме, но и на дворне, и в деревне.

Провезли на барский двор большую красивую ёлку, и на ёлку пригласили всех дворовых детей и многих деревенских. Сама барыня, Ольга Николаевна, с утра собиралась в город Т..., записывала на длинном листе бумаги, что нужно купить для ёлки, а дети бегали по всему дому, громко объявляя, что мама купит целую тысячу игрушек для всей деревни, и пряников, конфет и орехов. Она сейчас едет в город.

— И мы сами будем золотить орехи и насыпать в картонажи конфетки, — кричал маленький толстяк Илья, любивший покушать сладости.

— Ну, уж ты не можешь, ты мал, ты только есть будешь, — говорила девятилетняя живая и бедовая Таня.

— А мисс Ханна обещала сделать цветы, это будет очень красиво, — объявил маленький Леля.

— Маша, Маша, поди к мама, скажи ей, что нужно для цветов разноцветной бумаги, и клею, и проволоки, — сказала по-английски мисс Ханна.

— Она всё переврёт, — вмешалась черноглазая быстрая Таня и помчалась сама через все комнаты в спальню матери.

Степенный Серёжа, игравший в зале гаммы, посмотрел на пролетавшую мимо него сестру и пробормотал:

— И чего волнуются, я совсем не люблю ёлок, одна суета и жара.

Но он встал и посмотрел в окно. У подъезда стояла тройка рослых гнедых лошадей. Старый кучер Филипп Родивоныч, закутанный в тулуп сверх полушубка, в огромных рукавицах, в надвинутой на уши большой барашковой шапке дожидался своей барыни.

Мороз был сильный, градусов двадцать. Солнце низко ходило и плохо грело в эти короткие декабрьские дни. Лошади подрагивали и водили ушами, нетерпеливо постукивая острыми подковами о мёрзлую землю.

Наконец Серёжа дождался, как вышла его мать, тоже закутанная в две шубы; он видел, и как экономка Дунечка распихала по уголкам саней мешки и кулёчки для провизии, что-то прика-

зывая кучеру Родивонычу, и Серёжа, постучав в раму окна пальцами, кивнул в окно матери и, проводив глазами заскрипевшие по морозу троичные сани, сел опять к роялю.

Ольга Николаевна въехала на шоссе, обгоняя крестьянские подводы. Зазябшие мужики, согреваясь ходьбой и похлопывая руками в больших кожаных рукавицах, шли возле своих саней, подгоняя заиндевевших лохматых лошадок, вёзших в город продажный овёс.

— Тоже к празднику кое-что купить надо, — заметил кучер Родивоныч, — везут овёс продавать.

Один обоз обогнали, поравнялись с другим. К одним из саней привязана была лохматая корова; в санях сидела баба.

— Ишь, Ивановна корову ведёт в город продавать, — продолжал вслух рассуждать Родивоныч, — не осилила зиму прокормить, корму не хватило.

— Это вдова? — спросила Ольга Николаевна.

— Да; Сидор, ея муж, летось чахоткой умер, трое малых детей осталось.

Ольга Николаевна ощупала в мешке кошелёк. Она взяла сто рублей для подарков и покупок к праздникам и для ёлки, и ей стало неловко и скучно на душе.

— Стой, Родивоныч, — сказала вдруг она. Подвода с коровой поровнялась с санями Ольги Николаевны.

— Ивановна, подойди, ты ведёшь корову продавать? — спросила она.

— Что делать, Ольга Николаевна, — кормить нечем.

— Не продавай корову, вот тебе, — сказала Ольга Николаевна, достав на морозе окоченевшими пальцами кошелёк и подавая Ивановне двадцатипятирублевую бумажку.

— Бери же, Ивановна, и поезжай домой, к детям; это тебе мой подарок к празднику, — прибавила Ольга Николаевна, пряча кошелёк и руки в муфту. — Ну, поехали, — обратилась она к Родивонычу.

— И это радость моей душе к празднику, — тихо прошептала Ольга Николаевна и вспомнила, как на днях старая няня подала нищему монетку и, отходя, перекрестилась.

Ивановна в своём плохом, стареньком полушубке и рваном платке на голове совсем закоченела от удивления, радости и холода, не могла сказать ни слова.

Когда она, наконец, собралась поблагодарить барыню, та уже далеко отъехала на своей гнедой

тройке, и Ивановна, перекрестившись, поблагодарила Бога.

Она завязала в уголок платка двадцатипятирублёвую бумажку и, повернув лошадь, поехала домой, раздумывая о том, какая будет дома радость ребятам. Они так плакали сегодня утром, когда провожали свою корову.

Ольга Николаевна, приехав в город, обогрелась в знакомой лавке, где толпа народа закупала разную провизию к праздникам, и заказала суетившимся приказчикам покупки.

Она сняла свою вторую шубу, велела отпрячь гнедых и дать им корму. Потом она пошла в игрушечную лавку Сушкина.

Молодой приказчик Саша очень старательно кланялся богатой покупщице и стал показывать игрушки. Долго выбирала Ольга Николаевна разные игрушки: куклу, посуду, инструменты, декалкомании (переводные картинки. — *Ред.*) и наклейки, — каждому ребёнку, что он любит.

Илюша любил лошадей, ему купили конюшню со стойлами и лошадками в них; потом инструменты, и ружьё, которое стреляло и пробкой, и горохом. Маленькой Маше купили двух кукол и тележку; Леле — часы с цепочкой, кувыркающихся паяцов и органчик с музыкой. Серёжа был

серьёзный мальчик, и ему Ольга Николаевна купила альбом, много декалькоманий и наклеек, ещё настоящий ножик, в котором было девять разных инструментов: подпилок, отвёртка, шило, ножницы, штопор и прочее. Кроме того, была выписана из Москвы книга о птицах.

Черноглазой Тане Ольга Николаевна выбрала настоящий чайный сервиз с розовыми цветочками, лото с картинками, и ещё красивый рабочий ящик, в который положили ножницы, катушки, иголки, ленточки, крючки, пуговицы, — всё, что нужно для работы, — и хорошенький серебряный напёрсток с красным камешком на дне.

— Ну, слава Богу, всем выбрала, — сказала Ольга Николаевна, — теперь, Саша, давайте мне разных игрушек для ребят и всяких украшений на ёлку.

Саша принёс большой коробок, и в него стали класть хлопушки, картонажи, фонари, восковые свечи, блестящие вещицы, бусы и прочее. Для подарков же ребятам Ольга Николаевна спросила лошадок и кукол. Надо было выбирать игрушки и своим детям, и ребятам, попроще и подешевле; двадцать пять рублей были отданы Ивановне, и надо было теперь поменьше тратить денег. Она выбрала тридцать маленьких лошадок на колёсиках и спросила кукол.

В это время к лавке подъехал молодой мужик и, подойдя к Саше, с весёлой улыбкой спросил для своего парнишки игрушку на пятачок.

Молодой приказчик порылся в лошадках, достал одну и подал мужику.

— Ведь эти вы для меня отобрали, — сказала Ольга Николаевна.

— Нет-с, эта вам не годится.

— Почему?

Саша молчал.

Ольга Николаевна взяла из рук мужика лошадку и увидала, что одна нога надломлена и колёсик отскочил совсем.

— И вам не стыдно, Саша, подсовывать этому бедному мужику непременно сломанную лошадку.

Саша покраснел и стал оправдываться, говоря, что не заметил. Плутовские глаза его забегали, он переменил худую лошадку на крепкую, подал мужику и взял у него пятачок.

Мужик учтиво поблагодарил, опять улыбнулся и вышел.

— Я у вас на 40 рублей покупаю, мне не годится, по-вашему, сломанная лошадка, а бедному годится? Стыдно, Саша, стыдно, — продолжала упрекать приказчика Ольга Николаевна. — Ну,

теперь дайте мне недорогих раздетых кукол.

— Таких нет-с, — ответил Саша.

— Не может быть. А, здравствуйте, Николай Иванович, — поздоровалась Ольга Николаевна с входившим в лавку хозяином, её старым знакомым.

— Наше вам почтение, — ответил старичок.

— Вот спрашиваю, нет ли кукол, дети мои их будут сами одевать; нам для ребят и девочек крестьянских их много надо.

— Да ты покажи, Саша, скелетцев-то барыне, может, понравятся.

— Знаю, что не понравятся, — презрительно сказал Саша. — Не господский товар. Да для деревни разве сойдёт…

И Саша выдвинул ящик и забрал в обе руки целую горсть раздетых деревянных кукол, которых он презрительно называл скелетцами.

Скелетцы засуетились, яркий свет лампы осветил их лица и чёрные глянцевитые головки. Им стало весело, светло, просторно. В ящике лежать уже надоело, и скелетцы очень желали, чтобы их купили и оживили.

Ольга Николаевна сосчитала и купила всё сорок штук.

— Ну, теперь всё, — сказала она. — Пишите

счёт, а я пойду пока покупать орехи, конфеты, пряники, яблоки и разные сладости. Потом зайду к вам за игрушками и заплачу деньги.

Проворный, плутоватый Саша принялся всё укладывать, наложил два полных короба, а скелетцев опять стиснул, завернул в толстую серую бумагу, завязал верёвкой и швырнул на короб.

Ольга Николаевна, кончив всё дела и забрав покупки, наконец собралась домой.

В городе Т… зажгли фонари, мороз стал ещё сильнее; слышно было, как визжали по крепкому снегу железные полозья. Когда Ольга Николаевна выехала из города и платила деньги у заставы, она случайно взглянула на небо и поражена была красотой ярких звёзд. Деревья были белые от инея, всё поле было белое, даже воздух серебрился от инея. Как чисто, спокойно, просторно в поле! Не то что в городе.

Часов в шесть, прямо к обеду, вернулась Ольга Николаевна домой.

Дети, нетерпеливо ждавшие её, бросились вниз, в переднюю, встречать мать.

— Холодное, всё холодное, — кричала она снизу, — не ходите вниз, ничего ещё нельзя смотреть.

— Мама, мама, что купила? Много купила? А

мне что? — кричали дети.

— После обеда всё разберём, а теперь уходите! Слышите, уходите, а то ничего не покажу до ёлки.

Пять пар детских ног затопали по паркету залы, но шум и оживление не прекращались.

— Ура! Мама приехала!

— Короба огромные такие. Я видел.

— Я уверен, что мне пистолет мама купила…

— Беги, я тебя догоню, — кричала живая Таня, толкая Илюшу в спину, и оба со смехом побежали вокруг стола, на котором был накрыт обед.

Толстяк Илюша, стараясь убежать от Тани, по пути захватил угол скатерти, потянул её и сдёрнул на пол целый прибор. Тарелки, ножик, вилка, ложка, солонка — всё с шумом полетело на пол, и в эту самую минуту вошёл отец.

— Что это? — строго спросил он.

Все вдруг затихли. Таня начала подбирать приборы, но мисс Ханна не велела ей брать в руки черепки, а подобрала их сама. Таня же тихонько, сзади, подошла к отцу, который сел уже к столу, и, быстро поцеловав его в макушку головы, прошептала:

— Папа, виновата.

Отец улыбнулся своей любимице — и погладил

её чёрную головку.

Обед прошёл тихо. Ольга Николаевна рассказала, как съездила в город, пожаловалась на холод и сказала девочкам, что после обеда надо выбрать лоскутки и начать одевать скелетцев.

— Какие скелетцы? — спросила Таня смеясь.

— А это такие куколки, приказчик Саша их назвал скелетцами. Ты увидишь. Они лежали в игрушечной лавке в ящике, их не показывали, а я их открыла и вывела на свет. Мы так их нарядим, что просто чудо.

После обеда принесли обогревшихся скелетцев и сразу высыпали на большой стол.

— Какое безобразие! — сказал отец. — Да это Бог знает какая дрянь. Какие-то уроды. Только портить вкус детей таким безобразием, — ворчал отец и сел читать газету.

— Погоди, когда мы их нарядим, не будет дурно, — сказала мать.

— Ха-ха-ха, — смеялась Таня. — Ноги-то какие, точно палочки с розовыми башмачками…

— А этот курносый, голова чёрная блестит, лицо глупое и краска клейкая какая, фу!.. — брезгливо заметил Серёжа.

— Ну, пляшите, мертвецы, — говорил Илюша, взяв двух кукол и заставляя их прыгать.

— Give me one, — просила крошка Маша, протягивая свои худые беленькие ручки.

Скелетцы были очень счастливы. Им было тепло, светло и радостно с детьми. Они спали мёртвым сном в тёмном ящике игрушечной лавки, им было холодно и скучно. И вот они были призваны к жизни. Их деревянные маленькие тельца стали отогреваться и оживать, их хотели наряжать, и они будут стоять на ёлке на большом круглом столе, посреди которого будет маленькая ёлка со свечами и украшениями. Как весело!

— Ну, девочки, пойдёмте выбирать лоскутки, — звала Ольга Николаевна Таню и Машу.

В спальне она выдвинула нижний комод и достала несколько узелков с лоскутками. Чего, чего там не было! Вот остаток от Таниного красного платья; а вот полосатенький лоскуток от русских панталон Илюши; кусочки лент от шляпы мамы, бархат, остаточки от голубой шёлковой подушечки и прочее и прочее.

Таня и Маша, две настоящие маленькие женщины, возились в лоскутках с большим увлечением. Они набрали целый узелок тряпочек и побежали в залу.

Началась кройка, примерка; сочиняли для скелетцев всякие костюмы. Мисс Ханна, Ольга

Николаевна, няня, которую позвали помогать, Таня, — все принялись за работу.

Таня сшивала и рубила юбочки и рукава, мисс Ханна и няня шили для мальчиков рубашечки, куртки и панталончики, а Ольга Николаевна делала шапочки, шляпки и разные украшения.

Первого, самого хорошенького скелетца одели ангелом. Пышная, белая кисейная рубашечка, на голове венчик из золотой бумаги, а за деревянной спинкой два кисейных, натянутых на тонкий каркас крылышка.

— Какая прелесть! — умильно любовалась Таня, взяв из рук матери куколку. — Ах, мама, какой миленький ангелок, кому-то он достанется!

И Таня, полюбовавшись нарядным скелетцем, бережно поставила его в сторону.

— А няня-то какого мужика одела, чудо! — кричал Илюша, поднимая куколку в красной рубашке и чёрной круглой шапочке.

Затейщица Таня сделала турку в белой чалме с красным донышком. Турке наклеили усы и бороду, сделали длинный, пёстрый кафтан и широкие шаровары.

Потом нарядили ещё скелетца офицером в золотых эполетах и с саблей из серебряной бумаги.

Были наряжены и кормилица в кокошнике, и

старушка с белыми волосами из ваты, и цыганка в красной шали через плечо, и танцовщица в коротенькой юбочке с цветочками на голове, и два солдатика в синем и красном мундирах, и паяц с острой шапкой, на конце которой был пришит бубенчик. Был и повар весь в белом, и ребёночек в чепчике, и царь в золотой короне.

Работа шла весело и быстро. Из безобразных голых скелетиков всё больше и больше оживали красивые, пёстрые, нарядные куколки.

Очень хороша была царица. Ольга Николаевна вырезала ей из золотой бумаги корону, сделала длинное бархатное платье, а в деревянную ручку сунула маленький веер.

Дети были в восторге от скелетцев. Три вечера подряд шла работа, и все сорок штук были готовы и стояли рядами на столе, представляя из себя самую пёструю, красивую толпу.

Смелая Таня сбегала за отцом и привела его в залу.

— Смотри, папа, разве теперь это дрянь?

— Неужели это те уродцы, которые привезла мама? Не может быть! Да ведь это прелесть что такое!

— То-то, папа, ты нас похвали, мы три дня работали.

— Ну, оживили вы этих деревянных мертвецов. Целый народ, да ещё красивый, нарядный народ!

Дети были в восторге, что сам папа похвалил скелетцев, и на следующий день пошла другая работа. Начали золотить орехи, делать цветы, клеить коробочки, а кукол убрали в шкап.

Ожившие скелетцы уже не скучали. Собравшись в просторном шкапу, одетые, нарядные, они терпеливо ждали ёлки и весело проводили время среди других игрушек: зверей, картонажей и прочих красивых вещей.

Наконец наступило Рождество. Какое было с утра волнение!

Нарядные дети бегали по всему дому, поздравляя всех с праздниками. Ольга Николаевна озабоченно ходила по комнатам и даже в кухню, раздавая рождественские подарки и деньги своей прислуге. Каждому, кроме денег, она приготовила подарок и пакет со сластями.

Собралась в столовой вся семья. Мисс Ханна, добрая и весёлая англичанка, сделала к утру удивительный кекс с изюмом и коринкой, а к обеду огромный плум-пудинг, который с утра, завёрнутый в салфетку, кипел на плите у старого повара Николая, а за обедом должен будет пылать, облитый ромом и зажжённый.

Боже мой, как было весело! Морозное солнце блестело сквозь узоры замёрзших окон и освещало огромную нарядную ёлку в зале. На круглом столе расставлены были скелетцы, один красивее другого. С другой стороны были лошади, гармонии и другие игрушки для ребят.

На другом столе разложено было пять отделений разных подарков, и к каждому положена записка, кому какие. В стороне положен был подарок для Ханны: золотая брошка и батистовые платки в плоской коробочке, перевязанной розовой лентой.

Ольга Николаевна прикрыла всё длинной кисеёй, чтобы дети до вечера не видали подарков.

После завтрака приехал с крестом сельский священник Василий Иванович, который давал Серёже и Тане уроки из Закона Божьего и, рассказывая им что-нибудь, беспрестанно спрашивал: «Усвоили-с?», что очень смешило детей. С ним вошёл рыжий дьякон и весёлый дьячок Алёша, с которым во время службы переглянулся Илюша и оба нечаянно рассмеялись.

Рыжий дьякон, расправляя руками по обеим сторонам свои длинные волосы, строго оглянулся и запел басом молитву. Все набожно подошли к кресту, няня поцеловала батюшке руку, Ольга

Николаевна сунула в руку Василия Ивановича деньги, спросила о здоровье его супруги и детей и пожелала приятно провести праздники.

Но как долго ещё до вечера! Дети совсем потеряли терпение — и те, которые жили в доме, и те, которые собрались у крыльца на дворе. Там была целая толпа, почти вся деревня; дети болтали, толкали друг друга, заглядывали в окна дома, делая свои замечания.

Наконец и обед кончился. Пудинг, который пылал как целый костёр, съели, снесли кусок няне; но няне пудинг совсем не понравился, и, к удивлению маленькой Маши, она сказала, что молочная лапша гораздо вкуснее.

Но вот, наконец, заперли двери залы, и Ольга Николаевна, Ханна и лакей Пётр, привязав на палки восковые свечки, стали зажигать ёлку.

За дверями со стороны гостиной толпились дети Ольги Николаевны и несколько дворовых. Бойкая шалунья Таня толкала прачкину Варьку к щёлке двери и говорила:

— Смотри, Варя, там, под ёлкой, медведь сидит.

— Глупости, — серьёзно возразил Серёжа.

Мечтательный Леля заметил, что лучше всего это красота ёлки, и ему хотелось бы подольше её не разорять. А маленькая Маша без умолку

болтала по-английски о том, какие у неё будут куколки и вещицы. Здоровый Илюша больше всего радовался, что сладкой еды будет на целую неделю, если только уметь удержаться и не сразу всё съесть.

У другой двери, на просторной площадке и вдоль лестницы стояли деревенские дети, все закутанные, в полушубках, лаптях; ничего нельзя было разобрать, что они болтали, только можно было слышать, что все были веселы.

Няне поручено было впустить детей в залу, когда раздастся звонок. Наконец колокольчик зазвенел, обе двери отворились, и толпы детей ввалились с двух сторон в просторную залу большого деревенского дома с белыми стенами, на которых выделялась большая тёмно-зелёная, но ярко освещённая и блестящая ёлка.

В первую минуту всё затихло, дети молча глядели ослеплёнными от света и блеска глазами на ёлку.

Мало-помалу, посмелее ребята стали обходить ёлку кругом.

— Зайчик-то беленький висит! — вскрикнул маленький Петька.

— Ишь, яблоки-то и орехи золотые! — любовались девочки. — А бусы-то, глянь!

— Смотри, Парашка, птичка болтается, словно живая, только не поёт, — заметила Акулька Ершова.

— Конёк-то ясный, — трогая серебряную лошадку, говорил Федька Фоканов.

— Подойдите сюда, — позвала Ольга Николаевна ребят и девочек, подводя их к куколкам-скелетцам.

Некоторые дети даже вскрикнули от радости и удивления.

Нарядные скелетцы стояли вокруг маленькой, тоже разукрашенной и зажжённой ёлки. Они казались такие весёлые, счастливые.

— Куклам ёлку сделали! — воскликнула Таня. — Ура! Вот чудо!

— Тоже и им веселиться надо, — заметил Леля, улыбаясь и радуясь.

— Ну, давайте их раздадим, — сказала немного погодя Ольга Николаевна. — Таня, помогай.

Стали дарить деревенским детям лошадок, дудки, старшим — книжечки, гармонии, меньшим — скелетцев.

Таня набрала в руку несколько штук и, соображая по характерам, совала быстро в протянутые красные ручки ребят и девочек куколок-скелетцев.

— Этого тебе, — сказала она, давая турку маленькому Власу с подслеповатыми глазами и плутовской улыбкой. — Тебе, Федька, офицера, а тебе — вот, бери царя.

Сиротка в лохмотьях, сын вдовы Ивановны, Мишка, протянул свою худенькую ручку и взял куколку-царя.

Леля пристально смотрел на всё это, и глаза его устремились на беленькое задумчивое личико шестилетней Акульки Ершовой.

Он молча взял из кучи скелетцев ангела с крылышками, которого так красиво, нежно и легко одела его мать, и подал куколку Акуле.

Она вдруг улыбнулась, вся просияла и поцеловала куколку.

Когда раздали все игрушки деревенским детям и многие из них грызли крепкие красные крымские яблоки, которые беспрестанно тяжело падали с ёлки и, громко стуча, катились по паркету, счастливые и довольные все пятеро детей Ольги Николаевны стали рассматривать свои игрушки и вещицы и бросились благодарить мать.

Долго горела ёлка; ребят и девочек заставили петь.

Запели весёлую плясовую песню; подслеповатый Власка бойко выскочил в середину залы и

начал плясать, приговаривая: «Я вот какой!» Весёлый Федька Фоканов смотрел, смотрел и тоже принялся выделывать ногами разные штуки, к общему смеху детей.

— Да ты разденься, кафтан-то сними, — говорила няня. Федька сбросил кафтан на пол, поднял кверху скелетца-офицера в красном мундире и с ним вместе пустился опять плясать. Смех и одобрение детей раздались ещё громче. Кто-то достал гармонию и указал ещё на девочку, которая хорошо пляшет.

— Ну, Дашка, валяй! — уговаривали ребята. Дашка помялась, но, передав свою куколку-царицу рядом стоявшей с ней Матрёше, сбросила с головы материнскую красную шаль, сделала серьёзное лицо и плавно, по-бабьи, ударяя руками в ладоши и поднимая их выше головы, грациозно прошлась вокруг залы, приплясывая мелкими шажками и покрикивая изредка тонким голоском.

— Молодец Дашка, вот люблю! — с восторгом кричала Таня, блестя своими чёрными глазками и прыгая на месте.

Но становилось поздно, Ханна увела спать маленькую Машу, все дети устали.

Няня позвала ребят и велела всем уходить.

Затопали детские ноги вниз по большой лестнице; двери передней со скрипом и треском отворились, впустив в дом морозный воздух, и толпа крестьянских детей с шумом и говором побежала с горы вниз по старой берёзовой аллее, которая сыпала со своих холодных голых веток мелкий морозный снег на весёлые детские головки.

Ёлку потушили. Серёжа разбирал свои наклейки и любовался китайцами, индейцами и разными народами, которые были на них изображены. Затем он раскрыл книгу Кайгородова и увидал чудесные картинки птиц всех пород. Всё это очень ему нравилось.

Задумчивый Леля, очень любивший музыку, тихо вертел ручку органчика и старался понять мотив пьесы. Потом он завёл часы и надел цепочку на шею.

Илюша был особенно в восторге от ящика с инструментами, настоящего ножа и ружья. Конюшню с лошадками он поставил себе под кровать и ел уже пятое яблоко. Большой пряник, изображавший рыбу, тоже исчез, и у него отобрали остальные сладости, спрятав их до другого дня, чтобы он не съел лишнего и не заболел.

Больше всех сияла Таня. У неё столько было

вещей, что она сама донести не могла до детской. Завтра будет у неё настоящий чай в новой посуде; она позовёт и няню, и прачкиных девочек, и кукол, и пир будет удивительный.

Большие старинные часы на площадке лестницы пробили медленно и звонко двенадцать часов ночи. В доме было тихо, тихо, все спали; в пустой холодной зале валялись кусочки пряников, скорлупки золочёных орехов, сломанные картонажи и огарки восковых свечей. Две мышки среди залы старательно что-то грызли и тоже угощались после ёлки.

В детской слабенькая Маша, слишком уставшая, хныкала, беспрестанно просыпаясь, и звала няню. Рядом с ней у самой подушки лежали две хорошенькие фарфоровые куколки, беленькие, как она сама…

На деревне тоже потушили огни. Яркие звёзды горели на дальнем небе. В избе Ершовых теплилась лампадка перед образами и плакал грудной младенец, которого пеленала мать.

Беленькая нежная Акуля, завернувшись в ваточное одеяло из ситцевых разноцветных лоскутков, крепко спала на лавке, а над ней, на полочке, стояла куколка-ангел.

Вдова Ивановна долго вечером убирала избу и

готовила что-то в углу. Трое детей её спали тут же, и у меньшого, Мишки, в кулачке был зажат скелетец-царь. Корона из золотой бумаги смялась. Ивановна тихо достала его из руки мальчика, поправила корону и поставила на стол. На дворе промычала корова, которую так и не продала Ивановна; и сегодня они все по случаю праздника ели молочную кашу и пили чай с молоком.

Весёлый Федька Фоканов, живший на краю деревни, так много заставлял плясать своего офицера, что оторвал у него руку и, бросив под лавку, лёг спать рядом с дедом Михайлой.

И вот с этого вечера скелетцы начали новую жизнь по избам Краснопольской деревни.

Лидия Чарская. Ёлка через сто лет

I

Папа и мама плотно прикрыли двери столовой, предупредив Марсика, что в гостиной угар, и запретив мальчику входить туда. Но восьмилетний Марсик отлично знает, что никакого угара там нет. Вообще маленький Марсик знает, что с того самого года, как он начинает помнить себя, всегда каждое 24-ое декабря, то есть в самый вечер рождественского сочельника, в гостиной постоянно неблагополучно: то там случается угар, как и в нынешнем году, то открыта форточка, то папа ложится после обеда отдыхать не у себя в кабинете, как это во все остальные дни года, а непременно там; то к маме приходит портниха, и она примеряет там же очень обстоятельно и долго новое платье перед большим трюмо. В первые годы Марсик очень легко поддавался на эту удочку: он верил и угару, и форточке, и папину отдыху, и портнихе.

Но за последние два сочельника мальчик на-

столько вырос, что понял, зачем его дорогие мама и папа прибегали к этой невинной хитрости. Ларчик открывался просто: в гостиной украшали ёлку. Ну да, очаровательную зелёную ёлочку, которую каждый год устраивали сюрпризом для Марсика.

II

Сидеть и ждать в столовой становилось скучно. В большом камине догорали, вспыхивая алыми искорками, дрова. Ровно, светло и спокойно светила электрическая лампа. Таинственно белели запертые в гостиную двери. А из-за двери другой соседней со столовой комнаты доносился мерный голос «большого» Володи. Володю недаром все называли большим. Он был вдвое старше Марсика и в будущем году должен был кончить реальное училище. Сейчас в комнате Володи сидел Алёша Нетрудный, его закадычный товарищ, которому Володя и читал заданное им, реалистам, на праздники письменное сочинение. «Большой» Володя был очень прилежен и трудолюбив, как и подобает быть взрослому юноше; он успел уже до праздника написать сочинение и теперь читал его вслух Нетрудному.

Вначале Марсик очень мало обращал внима-

ния на Володино чтение. Все его мысли заняты были ёлкой.

Радостно замирало сердечко предчувствием того светлого и приятного, что должно было случиться сегодня же, скоро и очень скоро: вот пройдёт ещё полчаса, может быть, час времени, и распахнутся двери в гостиную. Появится на пороге их сияющая мама и протянет руки к Марсику и, обхватив его за плечи, поведёт в гостиную; а там «она» уже ждёт его! «Она» — ветвистая, зелёная, яркая красавица, сулящая столько радости и утех Марсикину сердечку. Потом приедут бабушка с дедушкой и привезут с собой их приёмную внучку-воспитанницу, с которой так любит играть Марсик. И ещё привезут обещанный поезд, маленький игрушечный поезд, о котором он так мечтал. А под ёлкой будет его ждать игрушечная же подводная лодка от мамы и папы.

Вот-то прелесть! Уж скорее бы проходило время. Скорее бы прекратились эти несносные минуты ожидания. Вскарабкаться что ли на подоконник и посмотреть на улицу, не едут ли бабушка и дедушка. И Марсик, пыхтя и кряхтя, лезет на высокий выступ окна, чтобы как-нибудь скоротать время.

III

А за стеной всё ещё слышится чёткий и громкий голос «большого» Володи, который продолжает читать вслух.

«Люди делают всё новые и новые изобретения. Они научились уже летать по воздуху на особых машинах, называемых аэропланами и дирижаблями. И весьма возможно, что через сто лет люди будут летать по воздуху в особых поездах, точно так же, как ездят теперь по железным дорогам. Кроме того, люди изобретают всё новые и новые машины, так что, вероятно, через сто лет всё то, что теперь делается руками, будут делать машины, и даже прислугу в доме будут заменять особые машины»…

Марсик долго прислушивался к чтению Володи, в его мыслях то и дело теперь носились обрывки прочитанного братом сочинения. А в окна сверху смотрели золотые звёзды и холодное декабрьское небо. Внизу же на улице стояла весёлая предпраздничная суматоха. Люди шныряли с покупками и ёлочками подмышкой. Марсику хорошо были видны фигуры прохожих, казавшиеся крохотными, благодаря расстоянию, отделяющему их от окна пятого этажа, у которого приютился

скорчившийся в клубок мальчик.

IV

Вдруг тёмное пространство за окном озарилось светом. Марсик даже вздрогнул от неожиданности и зажмурил глаза, Когда он их раскрыл снова, то остолбенел от удивления. За окном прямо против него остановился небольшой воздушный корабль. На носу корабля сидели бабушка, дедушка и Таша. И у дедушки, и бабушки, и у Таши в руках были свёртки и пакеты.

— Здравствуй, здравствуй, Марсик! — весело кричали они ему. — Мы прилетели к тебе на ёлку. Надеемся, не опоздали, и ёлочку ещё не зажгли?

Марсик очень обрадовался гостям, доставленным сюда таким необычайным способом. Два электрических фонаря, горевшие на передней части воздушного корабля, ярко освещали их лица. Марсику очень хотелось обнять поскорее дорогих гостей, но он не знал, как это сделать. Между ними и им находилось плотно закрытое на зиму окно.

Но тут поднялся дедушка и протянул к окошку свою палку, на конце которой был вделан крошечный, сверкающий шарик.

Дедушка провёл этим шариком по ребру рамы,

и окошко распахнулось настежь, а с воздушного корабля перекинулся мостик к подоконнику, и по этому мостику бабушка, дедушка и Таша, со свёртками и пакетами в руках, вошли в комнату. Окно тут же само собой захлопнулось за ними.

— Ну, веди нас к ёлке, где твоя ёлка? — целуя Марсика, говорили они.

В тот же миг распахнулись двери гостиной, и Марсик вскрикнул от восторга и неожиданности. Посреди комнаты стояла чудесная ёлка. На ней были навешаны игрушки, сласти, а на каждой веточке ярко сверкал крошечный электрический фонарик, немногим больше горошин.

Вся ёлка светилась как солнце южных стран. В это время заиграл большой ящик в углу. Но был не граммофон, но другой какой-нибудь музыкальный инструмент. Казалось, что чудесный хор ангельских голосов поёт песнь Вифлеемской ночи, в которую родился Спаситель.

«Слава в Вышних Богу и в человецах благоволение» — пели ангельски-прекрасные голоса, наполняя своими дивными звуками комнату.

Скоро, однако, замолкли голоса, замолкла музыка. Папа подошёл к ёлке и нажал какую-то скрытую в густой зелени пружину. И вмиг все игрушки, привешенные к ветвям дерева, зашеве-

лились, как бы ожили: картонная собачка стала прыгать и лаять; шерстяной медведь урчать и сосать лапу. Хорошенькая куколка раскланивалась, поводила глазками и пискливым голоском желала всем добрых праздников. А рядом паяц Арлекин и Коломбина танцевали какой-то замысловатый танец, напевая себе сами вполголоса звучную песенку. Эскадрон алюминиевых гусар производил ученье на игрушечных лошадках, которые носились взад и вперёд по зелёной ветке ёлки. А маленький негр плясал танец, прищёлкивая языком и пальцами. Тут же, в небольшом бассейне нырнула вглубь подводная лодка, и крошки пушки стреляли в деревянную крепость, которую осаждала рота солдат.

V

У Марсика буквально разбежались глаза при виде всех этих прелестных, самодвижущихся игрушек. Но вот бабушка и дедушка развернули перед ним самый большой пакет, и перед Марсиком очутился воздушный поезд, с крошками-вагончиками, с настоящим локомотивом, с малюсенькой поездной прислугой. Поезд, благодаря каким-то удивительным приспособлениям, держался в воздухе, и, когда дедушка нажал

какую-то пружинку, он стал быстро, быстро носиться над головами присутствующих, описывая в воздухе один круг за другим.

Кукольный машинист управлял локомотивом, кукла-кондуктор подавала свистки, куклы-пассажиры высовывались из окон, спрашивали, скоро ли станция, ели малюсенькие бутерброды и яблоки, пили из крохотных бутылок сельтерскую воду и лимонад, и говорили тоненькими голосами о разных новостях. Потом появилась из другого пакета кукла, похожая как две капли воды на самого Марсика, и стала декламировать вслух басню Крылова «Ворона и Лисица».

Из третьего пакета достали военную форму как раз на фигуру Марсика, причём каска сама стреляла, как пушка, винтовка сама вскидывалась на плечо и производила выстрел, а длинная сабля побрякивала, болтаясь со звоном то сзади, то спереди.

Не успел Марсик достаточно наохаться и наахаться при виде всех этих подарков, как в гостиную вкатился без всякой посторонней помощи стол автомат.

На столе стояли всевозможные кушанья.

Были тут и любимая Марсикина кулебяка, и заливное, и рябчики, и мороженое, и сладкое в

виде конфет и фруктов.

— Ну, Марсик, чего тебе хотелось бы прежде скушать? — ласково спросила его бабушка, в то время, как невидимая музыка заиграла что-то очень мелодичное и красивое.

— Рябчика! — быстро произнёс Марсик.

Тогда бабушка тронула пальцем какую-то пуговку внизу блюда, и в тот же миг жареный рябчик отделился от блюда и перелетел на тарелку Марсика.

Нож и вилка опять по неуловимому движению кого-то из старших так же без посторонней помощи прыгнули на тарелку и стали резать на куски вкусное жаркое.

То же самое произошло с кулебякой и с заливным. Утолив голод, Марсик пожелал винограда и апельсинов, красиво разложенных в вазе. Опять была тронута какая-то кнопка, и сам собой апельсин, автоматически очищенный от кожи, прыгнул на Марсикину тарелку. Тем же способом запрыгали и налитые золотистым соком ягоды винограда. Марсику оставалось только открывать пошире рот и ловить их налёту.

— Ну, что, — нравится тебе и такой ужин? А ёлка понравилась? — с улыбкой спрашивали Марсика его родные.

— Папа! Бабушка! Мамочка! Дедушка! Что же это значит? — ответил им весело и радостно изумлённый взволнованный Марсик.

— А то значит, мой милый, что это ёлка и ужин будущих времён. Такие чудесные ёлки увидят, может быть, твои внуки, тогда, когда люди изобретут такие приборы и машины, о которых теперь и мечтать нельзя, — отвечала ему мама и крепко поцеловала своего мальчика. На самом деле не одна только мама поцеловала крепко, крепко заснувшего и свернувшегося в клубочек на подоконнике Марсика. Целый град поцелуев сыпался на него.

— Проснись! Проснись, Марсик! С праздником Рождества тебя поздравляем! — слышались вокруг него добрые, ласковые голоса бабушки, дедушки, мамы, папы и Таши. И они протягивали мальчику привезённые с собой подарки. А в открытую дверь уже сияла из гостиной всеми своими многочисленными огнями ёлка. Марсик широко раскрыл заспанные глазёнки.

«Так то был сон?» — хотел он спросить, но сразу удержался при виде окружавших его сияющих по-праздничному родных ему лиц.

Два сочельника

У Переверзевых зажигают ёлку постоянно в сочельник.

С тех пор как Диночка Переверзева начала помнить себя, рождественская ёлка у них в семье всегда устраивается в сочельник. И всегда очень торжественно, шумно и людно. Целый день весь дом готовится к торжественному вечеру.

Диночка, мамуся и папочка украшают ёлку. Ёлка эта бывает непременно огромная, под потолок, и непременно красивая, как и подобает быть красивой, роскошной, пахучей и зелёной волшебнице леса. От неё вкусно-превкусно пахнет хвоей и лесным воздухом, который появляется в натопленных комнатах барских домов раз в год, в сочельник. С утра начинается усиленное передвижение в квартиру Переверзевых из кондитерской, из игрушечного магазина, из фруктовой. Какие-то таинственные свёрточки, какие-то картонки и тюрички, мешочки и опять тюрички и картонки извлекаются то и дело из огромнейших корзин проворными руками мамуси, папочки, самой Диночки, мисс Фанни

— Диночкиной гувернантки, и старой Астафьевны — Диночкиной няни, которая вынянчила и самою Диночку, и мамусю, и чуть ли не мамусину маму.

К восьми часам всё уже готово: ёлка сияет, сверкает, блестит и благоухает в ожидании гостей, которые съезжаются в восемь. И тут-то начинается настоящее торжество.

В этот сочельник Диночка уже «почти взрослая». Ей четырнадцать лет. Вся она хрупкая, как веточка, тоненькая и беленькая, как снежная королева. Папочка так и называет свою беленькую большую девочку — Снежной королевой. А мама всякий раз, как Диночка возвращается из гимназии с мисс Фанни, говорит, целуя её:

— Не нравится мне, что ты такая бледная, Динуша. Малокровие это, лечиться надо.

И Диночка лечится: усердно принимает рыбий жир, пилюли, мясной сок и ещё какие-то целебные порошки в облатках.

Но в сочельник Диночка неузнаваема. Щёки её раскраснелись, лицо оживлено сияющей улыбкой, синие глаза горят. Ну, совсем как вишенка и ничуть не «снежная королева».

Нынче съехалась пропасть гостей, гораздо больше, нежели в предыдущие годы. Ещё бы! До

сих пор все они были маленькие: и сама Диночка, Вава Зноева, и Саша Майкова, и Мери Щербет, и Воля с Максом, и братья Гронверские, и вся эта зелёная молодёжь, что наполняет сейчас гостиную Переверзевых, посреди которой высится огромная ёлка.

Какая она прелесть, эта ёлка! Сколько роскошных вещей навешано на её зелёных ветвях! Как красиво сверкают в лучах бесчисленных электрических лампочек все эти чудесные безделушки!

Но странно! Собравшиеся юные гости и их молоденькая хозяйка так мало интересуются в этом году ёлкой. Все они важно расселись по креслам и диванам, как взрослые молодые люди в ожидании танцев, и ведут «взрослую же», «всамделишную» беседу.

— Вы слышали Шаляпина? — немножко картавя и явно подражая своему старшему брату, кавалерийскому юнкеру, осведомляется тринадцатилетний пажик, Воля Шестаков.

— Ах, какая прелесть! Как он хорош! Я его слышала в «Фаусте», — лепечет Мери Щербет. — А вы, Диночка, слышали его?

Диночка краснеет до ушей от стыда и обиды. Точно она маленькая! Не слышать Шаляпина, когда все её гости слышали его! И почему это

мамуся и папочка не берут её в театр?

Она старается пробурчать что-то в ответ этой несносной Мери, вся малиновая, как вишня, но неожиданно взор её падает на двоих детей, одетых скромно, почти бедно, стоящих в уголку залы и с восторгом взирающих на пышно убранную ель.

Ещё ярче вспыхивают щёки Диночки при виде этих бедно одетых ребятишек, детей папочкиного секретаря, незаметного, очень бедного человека, которого почему-то, однако, особенно ценит и уважает папочка.

Диночка чувствует какую-то неловкость перед своими нарядными сверстниками и сверстницами от присутствия этих двух «замарашек» на её блестящем вечере в рождественский сочельник. А тут ещё Макс Весенцев, изящный юный праведник в ослепительно белых перчатках, во франтоватых манжетах и воротничке, вскидывает пенсне на нос и, глядя на неприятных Диночке гостей, цедит сквозь зубы:

— Что сие за явление? Откуда такие прелести?

Диночка уничтожена вконец. Противный Макс! Недостаёт ещё, чтобы он принял этих детей за настоящих гостей её, Диночки. Куда как приятно! Между тем «прелести» и не думают

смущаться. И братишка, и сестрёнка — в восторге от ёлки оба. Ваня и Нюта ничего подобного не видели ещё за свою коротенькую жизнь. Дома у них бедность, нужда, недостаток. О ёлке, конечно, и помина нет. Спасибо ещё доброму папиному начальнику, что позвал их сегодня к себе на ёлку… Уж и ёлка же! Ёлка словно в сказке! Во сне такой не увидишь, пожалуй! Ваня и Нюта ошеломлены. Глазёнки их горят. Руки сами собой тянутся к нарядному, очаровательно красивому деревцу. И дети, забывшись, громко делятся впечатлениями друг с другом.

— Ваня, ты погляди! Огоньков-то сколько, жёлтые, синие, красные, голубые! — восторженно лепечет Нюта.

— А паяц-то, паяц, ишь какой забавный! — указывая пальцем на красивую, висящую на ближайшей к нему ветке безделушку, вторит ей, тоже захлёбываясь от восторга, Ваня.

— А пряник-то какой огромадный, видишь? И мишка, гляди, мишка! Совсем как живой!

О, это уже слишком, по мнению Диночки. Она вся как на иголках…

— Точно дети с улицы! Никакого воспитания — ну, решительно, никакого! Просто стыд и срам!

И она украдкой обводит глазами своих гостей.

Какие у тех насмешливые лица и улыбочки! Ах, зачем только папочка позвал таких невоспитанных детей! Что о них, Переверзевых, будут думать их «настоящие» гости! Какое общество увидят они здесь!

До ушей Диночки долетает насмешливая фраза Мери Щербет, ужасной аристократки:

— Ma chere, откуда вы раздобыли этих дикарей?

— О, они попали сюда прямо с необитаемого острова! — острит Макс.

— Милая непосредственность! Она очаровательна! — смеётся Саша Майкова. И непонятно: добродушие или насмешка таится в этом смехе у неё.

Неожиданно Воля (ох уж этот ужасный Воля!) прибавляет, обращаясь к Диночке:

— Вы давно дружите с этими детьми? В прошлом году я их что-то здесь не видел.

О, это уже чересчур!

Красная, как пион, Диночка срывается с места, бросается к ёлке, не глядя срывает с неё две первые попавшиеся бомбоньерки и суёт их в руки Ване и Нюте.

— Вот-вот… — лепечет она с опущенными ресницами и рдеющими щеками — возьмите

это себе на память с нашей ёлки и идите домой. Сейчас начнутся танцы, а вы всё равно не умеете танцевать!

И так же быстро возвращается к кружку молодёжи.

Ещё год промчался в жизни Диночки. Тяжёлый, печальный год.

Папочкины дела пошатнулись. Пришлось «сократиться» во всём ещё недавно богатой, ни в чём не отказывающей себе семье. Из огромной квартиры Переверзевы переехали в маленькую. Отпустили мисс Фанни и отказали всему штату прислуги. Осталась няня Астафьевна, как непременный член семьи, да кухарка Матрёша, служившая раньше у них судомойкой на кухне, при поваре.

Но беда никогда не приходит одна. В довершение всего заболела Диночка. Заболела как-то странно. Слабость, бледность, вялость и полная апатия при полнейшем отсутствии какой бы то ни было боли приковывают теперь подолгу к кушетке Диночку.

Теперь она уже настоящая «снежная королева»! Личико у неё, как у Снегурочки, и маленькое-премаленькое, с кулачок! А глаза огромные, как сливы. И горят так ярко лихорадочным, нездо-

ровым огнём.

Мамуся без слёз не может смотреть на это бледное личико, а папочка только хмурится и молчит.

И Диночка молчит… Кутается в платок, мучимая лихорадкой и мечтой о том, как было бы хорошо, если бы она сделалась здоровой!

Опять сочельник…

Но как мало похож он на тот, прошлогодний! Бледная Диночка лежит на диване. Маленькая, скромная ёлка стоит перед ней на столе. И большая тоска холодит сердечко бедной «снежной королевы».

Сегодня сочельник. Но где же та радость, которая всегда поджидала обыкновенно Диночку в этот торжественный день? Где великолепная ёлка, блестящий вечер, нарядное общество её юных друзей; где они, эти её друзья, с такой охотой приезжавшие к ним в прошлые годы? Никто из юных сверстников и сверстниц не заглянул к Диночке с тех пор, как Диночка больна, а родители её переменили свою прежнюю большую и роскошную квартиру на теперешнюю скромную и маленькую, где нельзя уже делать ни танцевальных вечеринок, ни роскошной ёлки…

Никто не пришёл поздравить сегодня боль-

ную Диночку: ни Саша, ни Макс, ни Воля, ни Мери Щербет… А тогда, бывало… Или они боятся стеснить обедневшую семью? Ах, разве может стеснять участие, выражение дружбы и привязанности!

Слёзы жгут Диночкино горло, но она крепится, стараясь скрыть их от папочки и мамуси. Зачем растравлять их и без того измученные сердца? И без того велико их горе…

Няня Астафьевна просовывает в дверь свою благообразную седую голову, повязанную неизменным старушечьим платочком.

— Там… пришли к тебе, Диночка. Хочешь повидать? — шепчет она своей воспитаннице и, не дождавшись ответа больной, широко распахивает двери. На пороге комнаты стоят смущённые и улыбающиеся Нюта и Ваня, дети давно ушедшего от папочки его секретаря. Их милые свежие рожицы смущённо улыбаются Диночке.

Потом оба они нерешительно приближаются к больной. Ваня протягивает ей какой-то свёрток.

— С праздником, — говорит он, забавно шепелявя, — вот поздравить пришли. Принесли пряничков и пастилки. Папа наш праздничные получил, нам на гостинчики дал… Кушай на здоровье!..

А Нюта с важностью взрослой объясняет Дининому папочке:

— И дров купили к празднику, и гуся… А Ване сапоги… Старые-то до дыры сносились… С ног валятся… Так что у нас теперь много полегче будет! Куда легче теперь! Праздничную награду получил нынче наш папа на службе, целых двадцать пять рублей!

Диночка слушает, глядит на детей и маленькое сердечко её шумно бьёт тревогу. Затем она быстро заглядывает в ясные, доверчивые глазки Вами, берёт него свёрток из рук и, прижимая коробочку к груди, падает лицом в подушку… И тихо, беззвучно плачет…

Аркадий Аверченко. Рождественский день у Киндяковых



Одиннадцать часов. Одиннадцать часов. Утро морозное, о в комнате тепло. Печь весело гудит и шумит, изредка потрескивая и выбрасывая на железный лист, прибитый к полу на этот случай, целый сноп искр.

Нервный отблеск огня уютно бегает по голубым обоям.

Все четверо детей Киндяковых находятся в праздничном, сосредоточенно-торжественном настроении. Всех четверых праздник будто накрахмалил, и они тихонько сидят, боясь пошевелиться, стеснённые в новых платьицах и костюмчиках, начисто вымытые и причёсанные.

Восьмилетний Егорка уселся на скамеечке у раскрытой печной дверки и, не мигая, вот уже полчаса смотрит на огонь.

На душу его сошло тихое умиление: в комнате тепло, новые башмаки скрипят так, что лучше всякой музыки, и к обеду пирог с мясом, поросёнок и желе.

Хорошо жить. Только бы Володька не бил и, вообще, не задевал его. Этот Володька — прямо какое-то мрачное пятно на беспечальном существовании Егорки.

Но Володьке — двенадцатилетнему ученику городского училища — не до своего кроткого

меланхоличного брата. Володя тоже всей душой чувствует праздник, и на душе его светло.

Он давно уже сидит у окна, стёкла которого мороз украсил затейливыми узорами, — и читает.

Книга — в старом, потрёпанном, видавшем виды переплёте, и называется она: «Дети капитана Гранта». Перелистывая страницы, углублённый в чтение Володя, нет-нет, да и посмотрит со стеснённым сердцем: много ли осталось до конца? Так горький пьяница с сожалением рассматривает на свет остатки живительной влаги в графинчике.

Проглотив одну главу, Володя обязательно сделает маленький перерыв: потрогает новый лакированный пояс, которым подпоясана свеженькая ученическая блузка, полюбуется на свежий излом в брюках и в сотый раз решит, что нет красивее и изящнее человека на земном шаре, чем он.

А в углу, за печкой, там, где висит платье мамы, примостились самые младшие Киндяковы…

Их двое: Милочка (Людмила) и Карасик (Костя). Они, как тараканы, выглядывают из своего угла и всё о чём-то шепчутся.

Оба ещё со вчерашнего дня уже решили эмансипироваться и зажить своим домком. Именно

— накрыли ящичек из-под макарон носовым платком и расставили на этом столе крохотные тарелочки, на которых аккуратно разложены: два кусочка колбасы, кусочек сыру, одна сардинка и несколько карамелек. Даже две бутылочки из-под одеколона украсили этот торжественный стол: в одной — «церковное» вино, в другой — цветочек, — всё, как в первых домах.

Оба сидят у своего стола, поджавши ноги и не сводят восторженных глаз с этого произведения уюта и роскоши.

И только одна ужасная мысль грызёт их сердца: что, если Володька обратит внимание на устроенный ими стол? Для этого прожорливого дикаря нет ничего святого: сразу налетит, одним движением опрокинет себе в рот колбасу, сыр, сардинку и улетит, как ураган, оставив позади себя мрак и разрушение.

— Он читает, — шепчет Карасик.

— Пойди, поцелуй ему руку… Может, тогда не тронет. Пойдёшь?

— Сама пойди, — сипит Карасик. — Ты девочта. Буквы «к» Карасик не может выговорить.

Это для него закрытая дверь. Он даже имя своё произносить так:

— Тарасит.

Милочка со вздохом встаёт и идёт с видом хлопотливой хозяйки к грозному брату. Одна из его рук лежит на краю подоконника; Милочка тянется к ней, к этой загрубевшей от возни со снежками, покрытой рубцами и царапинами от жестоких битв, страшной руке… Целует свежими розовыми губками.

И робко глядит на ужасного человека.

Эта умилостивительная жертва смягчает Володино сердце. Он отрывается от книги:

— Ты что, красавица? Весело тебе?

— Весело.

— То-то. А ты вот такие пояса видала? Сестра равнодушна к эффектному виду брата, но чтобы подмазаться к нему, хвалит:

— Ах, какой пояс! Прямо прелесть!..

— То-то и оно. А ты понюхай, чем пахнет.

— Ах, как пахнет!!! Прямо — кожей.

— То-то и оно.

Милочка отходит в свой уголок и снова погружается в немое созерцание стола. Вздыхает…

Обращается к Карасику:

— Поцеловала.

— Не дерётся?

— Нет. А там окно такое замёрзнутое.

— А Егорта стола не тронет? Пойди, и ему по-

целуй руту.

— Ну, вот ещё! Всякому целовать. Чего недоставало!

— А если он на стол наплюнет?

— Пускай, а мы вытирем.

— А если на толбасу наплюнет?

— А мы вытирем. Не бойся, я сама съем. Мне не противно.

В дверь просовывается голова матери.

— Володенька! К тебе гость пришёл, товарищ.

Боже, какое волшебное изменение тона! В будние дни разговор такой: «Ты что же это, дрянь паршивая, с курями клевал, что ли? Где в чернила убрался? Вот придёт отец, скажу ему — он тебе пропишет ижицу. Сын, а хуже босявки!»

А сегодня мамин голос — как флейта. Вот это праздничек!

Пришёл Коля Чебурахин.

Оба товарища чувствуют себя немного неловко в этой атмосфере праздничного благочиния и торжественности.

Странно видеть Володе, как Чебурахин шаркнул ножкой, здороваясь с матерью и как представился созерцателю — Егорке:

— Позвольте представиться, Чебурахин. Очень приятно.

Как всё это необычно! Володя привык видеть Чебурахина в другой обстановке, и манеры Чебурахина, обыкновенно, были иные.

Чебурахин, обыкновенно, ловил на улице зазевавшегося гимназистика, грубо толкал его в спину и сурово спрашивал:

— Ты чего задаёшься?

— А что? — в предсмертной тоске шептал робкий «карандаш». — Я ничего.

— Вот тебе и ничего! По морде хочешь схватить?

— Я ведь вас не трогал, я вас даже не знаю.

— Говори: где я учусь? — мрачно и величественно спрашивал Чебурахин, указывая на потускневший, полуоборванный герб на фуражке.

— В городском.

— Ага! В городском! Так почему же ты, мразь несчастная, не снимаешь передо мной шапку? Учить нужно?

Ловко сбитая Чебурахиным гимназическая фуражка летит в грязь. Оскорблённый, униженный гимназист горько рыдает, а Чебурахин, удовлетворённый, «как тигр (его собственное сравнение) крадётся» дальше.

И вот теперь этот страшный мальчик, ещё более

страшный, чем Володя, — вежливо здоровается с мелкотой, а когда Володина мать спрашивает его фамилию и чем занимаются его родители, яркая горячая краска заливает нежные, смуглые, как персик, Чебурахинские щеки.

Взрослая женщина беседует с ним, как с равным, она приглашает садиться! Поистине, это Рождество делает с людьми чудеса!

Мальчики садятся у окна и, сбитые с толку необычностью обстановки, улыбаясь, поглядывают друг на друга.

— Ну, вот хорошо, что ты пришёл. Как поживаешь?

— Ничего себе, спасибо. Ты что читаешь?

— «Дети капитана Гранта». Интересная!

— Дашь почитать?

— Дам. А у тебя не порвут?

— Нет что ты! (Пауза). А я вчера одному мальчику по морде дал.

— Ну?

— Ей Богу. Накажи меня Бог, дал. Понимаешь, иду я по Слободке, ничего себе не думаю, а он ка-ак мне кирпичиной в ногу двинет! Я уж тут не стерпел. Кэ-эк ахну!

— После Рождества надо пойти на Слободку бить мальчишек. Верно?

— Обязательно пойдём. Я резину для рогатки купил. (Пауза). Ты бизонье мясо ел когда-нибудь?

Володе смертельно хочется сказать: «ел». Но никак невозможно… Вся жизнь Володи прошла на глазах Чебурахина, и такое событие, как потребление в пищу бизоньего мяса, никак не могло бы пройти незамеченным в их маленьком городке.

— Нет, не ел. А, наверное, вкусное. (Пауза). Ты бы хотел быть пиратом?

— Хотел. Мне не стыдно. Всё равно, пропащий человек…

— Да и мне не стыдно. Что ж, пират такой же человек, как другие. Только что грабит.

— Понятно! Зато приключения. (Пауза). А позавчера я одному мальчику тоже по зубам дал. Что это, в самом деле, такое?! Наябедничал на меня тётке что курю. (Пауза). А австралийские дикари мне не симпатичны, знаешь! Африканские негры лучше.

— Бушмены. Они привязываются к белым.

А в углу бушмен Егорка уже, действительно, привязался к белым:

— Дай конфету, Милка, а то на стол плюну.

— Пошёл, пошёл! Я маме скажу.

— Дай конфету, а то плюну.

— Ну, и плюй. Не дам.

Егорка исполняет свою угрозу и равнодушно отходить к печке. Милочка стирает передничком с колбасы плевок и снова аккуратно укладывает её на тарелку. В глазах её долготерпение и кротость.

Боже, сколько в доме враждебных элементов… Так и приходится жить — при помощи ласки, подкупа и унижения.

— Этот Егорка меня смешит, — шепчет она Карасику, чувствуя некоторое смущение.

— Он дурат. Тат будто это его тонфеты.

А к обеду приходят гости: служащий в пароходстве Чилибеев с женой и дядя Аким Семеныч. Все сидят, тихо перебрасываясь односложными словами, до тех пор, пока не уселись за стол.

За столом шумно.

— Ну, кума, и пирог! — кричит Чилибеев. — Всем пирогам пирог.

— Где уж там! Я думала, что совсем не выйдет. Такие паршивые печи в этом городе, что хоть на грубке пеки.

— А поросёнок! — восторженно кричит Аким, которого все немного презирают за его бедность и восторженность. — Это ж не поросёнок, а чёрт знает что такое.

— Да, и подумайте; такой поросёнок, что тут и

смотреть нечего — два рубли!! С ума они посходили там на базаре! Кура — рубль, а к индюшкам приступу нет! И что оно такое будет дальше, прямо не известно.

В конце обеда произошёл инцидент: жена Чилибеева опрокинула стакан с красным вином и залила новую блузку Володи, сидевшего подле.

Киндяков-отец стал успокаивать гостью, а Киндякова-мать ничего не сказала… Но по лицу её было видно, что если бы это было не у неё в доме, и быль бы не праздник, — она бы взорвалась от гнева и обиды за испорченное добро — как пороховая мина.

Как воспитанная женщина, как хозяйка, понимающая, что такое хороший тон, — Киндякова-мать предпочла накинуться на Володю:

— Ты чего тут под рукой расселся! И что это за паршивые такие дети, они готовы мать в могилу заколотить. Поел, кажется, — и ступай. Расселся, как городская голова! До неба скоро вырастешь, а всё дураком будешь. Только в книжки свои нос совать мастер!

И сразу потускнел в глазах Володи весь торжественный праздник, всё созерцательно-восторженное настроение… Блуза украсилась зловещим тёмным пятном, душа оскорблена, втоптана в

грязь в присутствии посторонних лиц, и главное — товарища Чебурахина, который тоже сразу потерял весь свой блеск и очарование необычности.

Хотелось встать, уйти, убежать куда-нибудь. Встали, ушли, убежали. Оба. На Слободку. И странная вещь: не будь тёмного пятна на блузке — всё кончилось бы мирной прогулкой по тихим рождественским улицам.

Но теперь, как решил Володя, «терять было нечего».

Действительно, сейчас же встретили трёх гимназистов-второклассников.

— Ты чего задаёшься? — грозно спросил Володя одного из них.

— Дай ему, дай, Володька! — шептал сбоку Чебурахин.

— Я не задаюсь, — резонно возразил гимназистик. — А вот ты сейчас макарон получишь.

— Я?

В голосе Володи сквозило непередаваемое презрение.

— Я? Кто вас от меня, несчастных, отнимать будет?

— Сам, форсила несчастная!

— Эх! — крикнул Володя (всё равно, блуза уже

не новая!), лихим движением сбросил с плеч пальто и размахнулся.

А от угла переулка уже бежали четыре гимназиста на подмогу своим…

— Что ж они, сволочи паршивые, семь человек на двух! — хрипло говорит Володя, еле шевеля распухшей, будто чужой губой и удовлетворённо поглядывая на друга затёкшим глазом. — Нет ты, брат, попробуй два на два… Верно? — Понятно.

И остатки праздничного настроения сразу исчезли — его сменили обычные будничные дела и заботы.

Продувной мальчишка



В нижеследующем рассказе есть все элементы, из которых слагается обычный сентиментальный рождественский рассказ: есть маленький мальчик, есть его мама и есть ёлочка, но только

рассказ-то получается совсем другого сорта… Сентиментальность в нём, как говорится, и не ночевала.

Это — рассказ серьёзный, немного угрюмый и отчасти жестокий, как рождественский мороз на севере, как жестока сама жизнь.

* * *

Первый разговор о ёлке между Володькой и мамой возник дня за 3 до Рождества, и возник не преднамеренно, а, скорее, случайно, по дурацкому звуковому совпадению.

Намазывая за вечерним чаем кусок хлеба маслом, мама откусила кусочек и поморщилась.

— Масло-то, — проворчала она, — совсем елкое…

— А у меня ёлка будет? — осведомился Володька, с шумом схлёбывая с ложки чай.

— Ещё чего выдумал! Не будет у тебя ёлки. Не до жиру — быть бы живу. Сама без перчаток хожу.

— Ловко, — сказал Володька. — У других детей сколько угодно ёлков, а у меня, будто я и не человек.

— Попробуй сам устроить — тогда и увидишь.

— Ну, и устрою. Большая важность. Ещё почище твоей будет. Где мой картуз?

— Опять на улицу?! И что это за ребёнок такой! Скоро совсем уличным мальчишкой сделаешься!.. Был бы жив отец, он бы тебе…

Но так и не узнал Володька, что бы сделал с ним отец: мать ещё только добиралась до второй половины фразы, а он уже гигантскими прыжками спускался по лестнице, меняя на некоторых поворотах способ передвижения: съезжая на перилах верхом.

На улице Володька сразу принял важный, серьёзный вид, как и полагалось владельцу многотысячного сокровища.

Дело в том, что в кармане Володьки лежал огромный бриллиант, найденный им вчера на улице, — большой сверкающий камень, величиной с лесной орех.

На этот бриллиант Володька возлагал очень большие надежды: не только ёлка, а пожалуй, и мать можно обеспечить.

— Интересно бы знать, сколько в нём карат? — думал Володька, солидно натянув огромный картуз на самый носишко и прошмыгивая между ногами прохожих.

Вообще, нужно сказать, голова Володьки — самый прихотливый склад обрывков разных сведений, знаний, наблюдений, фраз и изрече-

ний.

В некоторых отношениях он грязно невежествен: например, откуда-то подцепил сведение, что бриллианты взвешиваются на караты, и в то же время совершенно не знает, какой губернии их город, сколько будет, если умножить 32 на 18, и почему от электрической лампочки нельзя закурить папироски.

Практически же его мудрость вся целиком заключалась в трёх поговорках, вставляемых им всюду, сообразно обстоятельствам: «Бедному жениться — ночь коротка», «Была не была — повидаться надо» и «Не до жиру — быть бы живу».

Последняя поговорка была, конечно, заимствована у матери, а первые две — чёрт его знает у кого.

Войдя в ювелирный магазин, Володька засунул руку в карман и спросил:

— Бриллианты покупаете?

— Ну, и покупаем, а что?

— Свесьте-ка, сколько каратов в этой штучке?

— Да это простое стекло, — усмехнувшись сказал ювелир.

— Все вы так говорите, — солидно возразил Володя.

— Ну вот, поразговаривай тут ещё. Проваливай!

Многокаратный бриллиант весьма непочтительно полетел на пол.

— Эх, — кряхтя нагнулся Володя за развенчанным камнем. — Бедному жениться — ночь коротка. Сволочи! Будто не могли потерять настоящий бриллиант. Хи! Ловко, нечего сказать... Ну, что ж... Не до жиру — быть бы живу. Пойду, наймусь в театр.

Эта мысль, надо признаться, была уже давно лелеяна Володькой. Слыхивал он кое от кого, что иногда в театрах для игры требуются мальчики, но как приняться за эту штуку — он совершенно не знал.

Однако не в характере Володьки было раздумывать: дойдя до театра, он одну секунду запнулся о порог, потом смело шагнул вперёд и для собственного оживления и бодрости прошептал себе под нос: «Ну, была не была — повидаться надо».

Подошёл к человеку, отрывавшему билеты, и, задрав голову, спросил деловито:

— Вам мальчики тут нужны, чтоб играть?

— Пошёл, пошёл. Не болтайся тут.

Подождав, пока билетёр отвернулся, Володька протиснулся между входящей публикой и сразу очутился перед заветной дверью, за которой гремела музыка.

— Ваш билет, молодой человек, — остановила его билетёрша.

— Слушайте, — сказал Володька, — тут у вас в театре сидит один господин с чёрной бородой. У него дома случилось несчастье — жена умерла. Меня прислали за ним. Позовите-ка его!

— Ну, стану я там твою чёрную бороду искать — иди сам и ищи!

Володька, заложив руки в карманы, победоносно вступил в театр и сейчас же, высмотрев свободную ложу, уселся в ней, устремив на сцену свой критический взор.

Сзади кто-то похлопал по плечу.

Оглянулся Володька: офицер с дамой.

— Эта ложа занята, — холодно заметил Володька.

— Кем?

— Мною. Рази не видите?

Дама рассмеялась, офицер направился было к капельдинеру, но дама остановила его:

— Пусть посидит с нами, хорошо? Он такой маленький и такой важный. Хочешь с нами сидеть?

— Сидите уж, — разрешил Володька. — Это что у вас? Программка? А ну, дайте…

Так сидели трое до конца первой серии.

— Уже конец? — грустно удивился Володька, когда занавес опустился. — Бедному жениться — ночь коротка. Эта программка вам уже не нужна?

— Не нужна. Можешь взять её на память о такой приятной встрече.

Володька деловито осведомился:

— Почём платили?

— Пять рублей.

— Продам на вторую серию, — подумал Володька и, подцепив по пути из соседней ложи ещё одну брошенную программку, бодро отправился с этим товаром к главному выходу.

Когда он вернулся домой, голодный, но довольный, у него в кармане вместо фальшивого бриллианта были две настоящие пятирублёвки.

* * *

На другое утро Володька, зажав в кулак свой оборотный капитал, долго бродил по улицам, присматриваясь к деловой жизни города и прикидывая глазом — во что бы лучше вложить свои денежки.

А когда он стоял у огромного зеркального окна кафе, его осенило.

— Была не была — повидаться надо, — подстег-

нул он сам себя, нахально входя в кафе.

— Что тебе, мальчик? — спросила продавщица.

— Скажите, пожалуйста, тут не приходила дама с серым мехом и с золотой сумочкой?

— Нет, не было.

— Ага. Ну, значит, ещё не пришла. Я подожду её.

И уселся за столик.

— Главное, — подумал он, — втереться сюда. Попробуй-ка выгони потом: я такой рёв подыму!..

Он притаился в тёмном уголку и стал выжидать, шныряя чёрными глазёнками во все стороны.

Через два столика от него старик дочитал газету, сложил её и принялся за кофе.

— Господин, — шепнул Володька, подойдя к нему. — Сколько заплатили за газету?

— Пять рублей.

— Продайте за два. Всё равно ведь прочитали.

— А зачем она тебе?

— Продам. Заработаю.

— О-о… Да ты, брат, деляга. Ну, на. Вот тебе трёшница сдачи. Хочешь сдобного хлеба кусочек?

— Я не нищий, — с достоинством возразил Володька. — Только вот на ёлку заработаю — и шабаш. Не до жиру — быть бы живу.

Через полчаса у Володьки было пять газетных листов, немного измятых, но вполне приличных на вид.

Дама с серым мехом и с золотой сумочкой так и не пришла. Есть некоторые основания думать, что существовала она только в разгорячённом Володькином воображении.

Прочитав с превеликим трудом совершенно ему непонятный заголовок: «Новая позиция Ллойд Джорджа», Володька, как безумный, помчался по улице, размахивая своими газетами и вопя во всю мочь:

— Интер-ресные новости! Новая позиция Ллойд Джорджа — цена пять рублей. Новая позиция за пять рублей!!

А перед обедом, после ряда газетных операций, его можно было видеть идущим с маленькой коробочкой конфет и сосредоточенным выражением лица, еле видимого из-под огромной фуражки.

На скамейке сидел праздный господин, лениво покуривая папиросу.

— Господин, — подошёл к нему Володька. — Можно вас что-то спросить?..

— Спрашивай, отроче. Валяй!

— Если полфунта конфет — 27 штук стоят 55

рублей, так сколько стоит штука?

— Точно, брат, трудно сказать, но около двух рублей штука. А что?

— Значит, по пяти рублей выгодно продавать? Ловко! Может, купите?

— Я куплю пару, с тем чтобы ты сам их и съел.

— Нет, не надо, я не нищий. Я только торгую… Да купите! Может, знакомому мальчику отдадите.

— Эх-ма, уговорил! Ну, давай на керенку, что ли…

Володькина мать пришла со своей белошвейной работы поздно вечером…

На столе, за которым, положив голову на руки, сладко спал Володька, стояла крохотная ёлочка, украшенная парой яблок, одной свечечкой и тремя-четырьмя картонажами, — и всё это имело прежалкий вид.

У основания ёлки были разложены подарки: чтобы не было сомнения, что кому предназначено, около цветных карандашей была положена бумажка с корявой надписью:

— «Дли Валоди».

А около пары тёплых перчаток другая бумажка с ещё более корявым предназначением:

— «Дли мами»…

Крепко спал продувной мальчишка, и неизвестно где, в каких сферах витала его хитрая купеческая душонка…

Аркадий Гайдар. Чук и Гек



Жил человек в лесу возле Синих гор. Он много работал, а работы не убавлялось, и ему нельзя

было уехать домой в отпуск.

Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости.

Ребятишек у него было двое — Чук и Гек.

А жили они с матерью в далёком огромном городе, лучше которого и нет на свете.

Днём и ночью сверкали над башнями этого города красные звёзды.

И, конечно, этот город назывался Москва.

Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались.

Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл. Но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или, наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы.

Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама! А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два не позволяла им играть вместе. А в одном

часе — тик да так — целых шестьдесят минут. А в двух часах и того больше.

Вот почему оба брата мигом вытерли слёзы и бросились открывать дверь.

Но, оказывается, это была не мать, а почтальон, который принёс письмо.

Тогда они закричали:

— Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет.

Тут, на радостях, они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно.

И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать.

Она очень удивилась, увидав, что оба её прекрасных сына, лёжа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов.

Но когда мать узнала, отчего такая радость, то сыновей не заругала.

Она только турнула их с дивана.

Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые

теперь растаяли и сверкали, как искры, над её тёмными бровями.

Всем известно, что письма бывают весёлые или печальные, и поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за её лицом.

Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо весёлое.

— Отец не приедет, — откладывая письмо, сказала мать. — У него ещё много работы, и его в Москву не отпускают.

Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным.

Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.

— Он не приедет, — продолжала мать, — но он зовёт нас всех к себе в гости.

Чук и Гек спрыгнули с дивана.

— Он чудак человек, — вздохнула мать. — Хорошо сказать — в гости! Будто бы это сел на трамвай и поехал…

— Да, да, — быстро подхватил Чук, — раз он зовёт, так мы сядем и поедем.

— Ты глупый, — сказала мать. — Туда ехать

тысячу и ещё тысячу километров поездом. А потом в санях лошадьми через тайгу. А в тайге наткнёшься на волка или на медведя. И что это за странная затея! Вы только подумайте сами!

— Гей-гей! — Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже сто тысяч километров. Им ничего не страшно. Они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку.

И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча, всё их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван.

Знайте, она давно уже ждала такого письма, и это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что весёлый у неё был характер.

Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в неё гвоздь, и получилась пика, до того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом ткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу.

Наконец все дела были закончены. Уже запаковали багаж. Приделали второй замок к двери, чтобы не обокрали квартиру воры. Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд.

Но тут без неё у Чука с Геком получилась ссора.

Ах, если бы только знали они, до какой беды доведёт их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились!

У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обёртки (если там был нарисован танк, самолёт или красноармеец), галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и ещё всякие очень нужные вещи.

У Гека такой коробочки не было. Да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни.

И вот как раз в то время, когда Чук шёл доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошёл почтальон и передал Чуку телеграмму для матери.

Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошёл узнать, почему это Гек уже не поёт песни,

а кричит:

— Р-ра! Р-ра! Ура!

Эй! Бей! Турумбей!

Чук с любопытством приоткрыл дверь и увидел такой «турумбей», что от злости у него затряслись руки.

Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой, разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в жёлтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от Октябрьских праздников и деньги — сорок шесть копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберёг в дальнюю дорогу.

И, увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил её о колено и швырнул на пол.

Но, как ястреб, налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку.

Громко завопил оскорблённый Чук и с криком: «Телеграмма! Телеграмма!» — в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь.

Почуяв неладное, вслед за Чуком понёсся Гек.

Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала ещё никем не прочитанная телеграмма.

То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и её утянул какой-либо прохожий, но, так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой коробка навеки пропала.

Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадёт им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал:

— Знаешь, Гек: а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь — телеграмма! Нам и без телеграммы весело.

— Врать нельзя, — вздохнул Гек. — Мама за враньё всегда ещё хуже сердится.

— А мы не будем врать! — радостно воскликнул Чук. — Если она спросит, где телеграмма, — мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперёд выскакивать? Мы не выскочки.

— Ладно, — согласился Гек. — Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.

И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд, но всё же она сразу заметила, что у её дорогих сыновей лица печальны, а глаза заплаканы.

— Отвечайте, граждане, — отряхиваясь от снега, спросила мать, — из-за чего без меня была драка?

— Драки не было, — отказался Чук.

— Не было, — подтвердил Гек. — Мы только хотели подраться, да сразу раздумали.

— Очень я люблю такое раздумье, — сказала мать.

Она разделась, села на диван и показала им твёрдые зелёные билеты: один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули.

А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила.

Назавтра они уехали. Но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь чёрные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.

Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако всё вокруг Гека было озарено голубым светом: и вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике,

и жёлтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе.

Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина.

Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука — не проснётся ли. Чук сердито фыркнул и не просыпался.

Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор.

Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило ещё десять дверей. И все двери были блестящие, красные, с жёлтыми золочёными ручками.

Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошёл проводник с фонарём и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками

хлопает.

Проводник ушёл, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель.

А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся.

Но тут случилось нечто страшное: вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:

— Это кто же здесь толкается?

Тогда Гек завопил что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в своё купе, а в чужое, Гек заорал ещё громче.

Но все люди быстро поняли, в чём дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастёрку и отвёл Гека на место.

Гек проскользнул под своё одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер.

Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала,

какая беда приключилась с её сыном.

Наконец заснул и Гек.

…И снился Геку странный сон,
Как будто ожил весь вагон,
Как будто слышны голоса
От колеса до колеса.
Бегут вагоны – длинный ряд —
И с паровозом говорят.
Первый. Вперёд, товарищ! Путь далёк
Перед тобой во мраке лёг.
Второй. Светите ярче, фонари,
До самой утренней зари!
Третий. Гори, огонь! Труби, гудок!
Крутись, колёса, на Восток!
Четвёртый. Тогда закончим разговор,
Когда домчим до Синих гор.

Когда Гек проснулся, колёса, уже без всяких разговоров, мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с на-

конечником из жёлтого патрона, который он получил в подарок от военного.

Но Гек до вещей был не завистлив и не жаден. Он, конечно, был растеря и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, — вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни.

Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди.

И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду — кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок кручёной бечёвки, — Гек за это время увидел через окно немало.

Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка. Трах! — кошка кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу.

Интересно, за что это он её бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянула.

Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки — стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым чёрный, а свет жёлтый. Интересно,

что на этом заводе делают? Вот будка, и, укутанный в тулуп, стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка.

Однако попробуй-ка, сунься!

Потом пошёл танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река.

Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе.

Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по сто паровозов; встречались станции и совсем крохотные — ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочью на углу возле их московского дома.

Проносились навстречу поезда, гружённые рудой, углём и громадными, толщиной в полвагона, брёвнами.

Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишко у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый, а тут как один бык рявкнул: му-у!.. Даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз

нагоняет.

А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки.

Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придёт ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой.

Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом.

И вот наконец утром поезд подкатил к маленькой станции.

Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался.

Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел.

Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что

до того места, где он жил, оставалось ехать ещё километров сто тайгою.

Мать ходила очень долго, а тут ещё неподалёку появился страшенный козёл. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мемекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать.

Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо.

Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал.

Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понёс их в буфет вокзала.

Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый, ростом с Чука, самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговалась с ямщиком: сколько он возьмёт, чтобы довезти их в лес до места. Ямщик просил очень много — целых сто рублей. Да и то сказать: дорога и на самом деле была не

ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за тёплыми тулупами.

— Отец и не знает, что мы уже приехали, — сказала мать. — То-то он удивится и обрадуется!

— Да, он обрадуется, — прихлёбывая чай, важно подтвердил Чук. — И я удивлюсь и обрадуюсь тоже.

— И я тоже, — согласился Гек. — Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит. Сел. Задумался. А мы молчим, молчим, да вдруг как завоем!

— Я под кровать не полезу, — отказалась мать, — и выть не буду тоже. Лезьте и войте сами… Зачем ты, Чук, сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.

— Я лошадей кормить буду, — спокойно объяснил Чук. — Забирай, Гек, и ты кусок ватрушки. А то у тебя никогда ничего нет. Только и знаешь у меня выпрашивать!

Вскоре пришёл ямщик. Уложили в широкие сани багаж, взбили сено, укутались одеялами, тулупами.

Прощайте, большие города, заводы, станции, деревни, посёлки! Теперь впереди только лес,

горы и опять густой, тёмный лес.

…Почти до сумерек, охая, ахая и дивясь на дремучую тайгу, они проехали незаметно. Но вот Чуку, которому из-за спины ямщика плохо была видна дорога, стало скучно. Он попросил у матери пирожка или булки. Но ни пирожка, ни булки мать ему, конечно, не дала. Тогда он насупился и от нечего делать стал толкать Гека и отжимать его к краю.

Сначала Гек терпеливо отпихивался. Потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжёлыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами.

Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням — и рванули кони. Выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:

— Эй, эй! Ого-го!.. Берегись: задавим!

Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер. И, поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалёких Синих гор.

Но вот безо всякой команды кони стали возле

маленькой, занесённой снегом избушки.

— Здесь ночуем, — сказал ямщик, соскакивая в снег. — Это наша станция.

Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было.

Быстро вскипятил ямщик чайник; принесли из саней сумку с продуктами.

Колбаса до того замёрзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту.

За печкой Чук нашёл какую-то кривую пружину, и ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу.

Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья.

Гек не любил спать ни у стены, ни посредине. Он любил спать с краю. И хотя ещё с раннего детства он слыхал песню «Баю-баю-шки-баю, не ложися на краю», Гек всё равно всегда спал с краю.

Если же его клали в серёдку, то во сне он сбрасывал со всех одеяла, отбивался локтями и толкал

Чука в живот коленом.

Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись: Чук у стенки, мать посредине, а Гек с краю.

Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся.

В полудрёме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку.

Луна была за тучками и, сквозь маленькое окошко сугробы снега казались чёрно-синими.

«Вот как далеко занесло нашего папу!» — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и не много осталось мест на свете.

Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжёлыми шагами. Так и есть! Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочалось, и Гек понял, что это мимо окна прошёл медведь.

— Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели?.. Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьём или острой саблей!

Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка.

Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Чёрно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто это отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено.

Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришёл угрюмый.

Приснился Геку странный сон!
Как будто страшный Турворон
Плюёт слюной, как кипятком,
Грозит железным кулаком.
Кругом пожар! В снегу следы!
Идут солдатские ряды.
И волокут из дальних мест
Кривой фашистский флаг и крест.

— Постойте! — закричал им Гек. — Вы не туда идёте! Здесь нельзя!

Но никто не постоял, и его, Гека, не слушали.

В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под

ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой — и разом ударили залпом его тяжёлые и грозные орудия.

— Хорошо! — похвалил Гек. — Только стрельните ещё, а то одного раза им, наверное, мало…

Мать проснулась оттого, что оба её дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались.

Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твёрдое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель.

Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон.

Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть. Но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его тёплый лоб.

Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас.

Тогда мать встала и в чулках, без валенок, подошла к окошку.

Ещё не светало, и небо было всё в звёздах. Иные

звёзды горели высоко, а иные склонялись над чёрной тайгой совсем низко.

И — удивительное дело! — тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло её беспокойного мужа, наверное, и не много осталось мест на свете.

Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъёмах ямщик соскакивал с саней и шёл по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба.

Наконец под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:

— Ну, вот и приехали! За этим мыском поворот. Тут, на поляне, и стоит ихняя база… Эй, но-о!.. Наваливай!

Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дёрнули, и они дружно плюхнулись в сено.

Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке.

Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трём домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке.

Очень странно! Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорож-

ки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.

— Ты куда же нас привёз? — в страхе спросила у ямщика мать. — Разве нам сюда надо?

— Куда рядились, туда и привёз, — ответил ямщик. — Вот эти дома называются «Разведывательно-геологическая база номер три». Да вот и вывеска на столбе… Читайте. Может быть, вам нужна база под названием номер четыре? Так то километров двести совсем в иную сторону.

— Нет, нет! — взглянув на вывеску, ответила мать. — Нам нужна эта самая. Но ты посмотри: двери на замках, крыльцо в снегу, а куда же девались люди?

— Я не знаю, куда б им деваться, — удивился и сам ямщик. — На прошлой неделе мы сюда продукт возили: муку, лук, картошку. Все люди тут были: восемь человек, начальник девятый, со сторожем десять… Вот ещё забота! Не волки же их всех поели… Да вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку.

И, сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке.

Вскоре он вернулся:

— Изба пуста, а печка тёплая. Значит, здесь сторож, да, видать, ушёл на охоту. Ну, к ночи вернётся и всё вам расскажет.

— Да что он мне расскажет! — ахнула мать. — Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету.

— Это я уж не знаю, что он расскажет, — ответил ямщик. — А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож.

С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка.

Они вошли в сени и мимо лопат, мётел, топоров, палок, мимо промёрзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи.

В избушке было тепло. Ямщик пошёл задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.

— Ехали к отцу, ехали — вот тебе и приехали!

Мать села на лавку и задумалась. Что случилось, почему на базе пусто и что теперь делать? Ехать назад? Но у неё денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернётся сторож. Но ямщик через три часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмёт да не скоро вернётся? Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции и телеграфа по-

чти сто километров!

Вошёл ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошёл к печке и открыл заслонку.

— Сторож к ночи вернётся, — успокоил он. — Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушёл надолго, он бы щи на холод вынес... А то как хотите, — предложил ямщик. — Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю.

— Нет, — отказалась мать. — На станции нам делать нечего.

Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили, и, пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на тёплую печку. Здесь пахло берёзовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули.

Они не слышали, как уехал ямщик и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот, потом что-то в сенях загрохотало — должно быть, упала лопата.

Распахнулась дверь, и с фонарём в руках в избу вошёл сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружьё, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил:

— Это что же за гости сюда приехали?

— Я жена начальника геологической партии Серёгина, — сказала мать, соскакивая с печки, — а это его дети. Если нужно, то вот документы.

— Вон они, документы: сидят на печке, — буркнул сторож и посветил фонарём на встревоженные лица Чука и Гека. — Как есть в отца — копия! Особо вот этот толстый. — И он ткнул на Чука пальцем.

Чук и Гек обиделись: Чук — потому, что его назвали толстым, а Гек — потому, что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.

— Вы зачем, скажите, приехали? — глянув на мать, спросил сторож. — Вам же приезжать было не велено.

— Как не велено? Кем это приезжать не велено?

— А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серёгина телеграмму, а в телеграмме ясно написано: «Задержись выезжать на две недели. Наша партия срочно выходит в тайгу». Раз Серёгин пишет «задержись» — значит, и надо было

держаться, а вы самовольничаете.

— Какую телеграмму? — переспросила мать. — Мы никакой телеграммы не получали. — И, как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека.

Но под её взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.

— Дети, — подозрительно глянув на сыновей, спросила мать, — вы без меня никакой телеграммы не получали?

На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.

— Отвечайте, мучители! — сказала тогда мать. — Вы, наверное, без меня получили телеграмму и мне её не отдали?

Прошло ещё несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рёв. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.

— Вот где моя погибель! — воскликнула мать. — Вот кто, конечно, сведёт меня в могилу! Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело.

Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли ещё громче, и прошло

немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ.

Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу? Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать.

Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернётся никак не раньше чем дней через десять.

— Но как же мы эти десять дней жить будем? — спросила мать. — Ведь у нас с собой нет никакого запаса.

— А так вот и живите, — ответил сторож. — Хлеба я вам дам, вон подарю зайца — обдерёте и сварите. А я завтра на двое суток в тайгу уйду, мне капканы проверять надо.

— Нехорошо, — сказала мать. — Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем. А здесь лес, звери…

— Я второе ружьё оставлю, — сказал сторож. — Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком.

Вон крупа в мешке, соль в банке. А мне — я вам прямо скажу — нянчиться с вами тоже некогда…

— Эдакий злой дядька! — прошептал Гек. — Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.

— Вот ещё! — отказался Чук. — Он тогда возьмёт и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему всё и расскажем.

— Что ж папа! Папа ещё долго…

Гек подошёл к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу.

Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.

— Достань из печки щи, — сказал матери сторож. — Вон на полке ложки, миски, садитесь и ешьте. А я шубу чинить буду.

— Ты хозяин, — сказала мать. — Ты достань, ты и угощай. А полушубок дай: я лучше твоего заплатаю.

Сторож поднял на неё глаза и встретил суровый взгляд Гека.

— Эге! Да вы, я вижу, упрямые, — пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.

— Это где так разорвалось? — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.

— С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул, — нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжёлый горшок со щами.

— Слышишь, Гек? — сказал Чук, когда сторож вышел в сени. — Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый.

Гек слышал всё сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем.

Утром, ещё на заре, сторож захватил с собой мешок, ружьё, собаку, стал на лыжи и ушёл в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроём ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шёл густой пар, но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холодней самого мороза.

Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лёд на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с

деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины Синих гор.

Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей ещё не приходилось, и она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову.

Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно, и за это ему достался зайчиный хвост, такой лёгкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют.

После обеда они все втроём вышли гулять.

Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружьё или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла.

Наоборот, она нарочно повесила ружьё на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется.

Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане.

Удивительная это была прогулка! Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо; как сказочные

замки и башни, поднимались к небу остроконечные утёсы Синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями, на мягком белом снегу, отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега.

Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы, то есть из улиц, домов, трамваев и автобусов.

Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса.

Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землёй ни дождя, ни туч нету.

И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже.

Прошло два дня, наступил третий, а сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесённым снегом домиком.

Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери и, чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна, хотя надо было делать совсем

наоборот, потому что зверь — не человек и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер, а когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается.

Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки.

Наконец она задремала.

— Чук, — спросил Гек, — почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле?

— И ведьмы и черти чтобы были тоже? — спросил Чук.

— Да нет! — с досадой отмахнулся Гек. — Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали.

— А на чём бы он полетел, Гек?

— Ну, на чём… Замахал бы руками или там ещё как. Он уж сам знает.

— Сейчас руками махать холодно, — сказал Чук. — У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замёрзли.

— Нет, ты скажи, Чук, а всё-таки хорошо бы?

— Я не знаю, — заколебался Чук. — Помнишь, во дворе, в подвале, где живёт Мишка Крюков, жил какой-то хромой. То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи, и он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная.

— И хорошо он нагадывал?

— Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали, а из его квартиры много чужого добра вытащили.

— Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?

— Конечно, жулик, — согласился Чук. — Да, я так думаю, и все волшебники должны быть жуликами. Ну, скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знай только хватай, что надо… Ты бы лучше спал, Гек, всё равно я с тобой больше разговаривать не буду.

— Почему?

— Потому что ты городишь всякую ерунду, а ночью она тебе приснится, ты и начнёшь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже…

На утро четвёртого дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его

расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепёшек.

После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура.

Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла вёдра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток, — тогда утром легче будет растапливать печку.

Гек остался один. Он ждал долго. Ему стало скучно, и он начал что-то придумывать.

…А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, вёдра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл тёплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки.

Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было.

Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку.

Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался.

Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под

печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было.

Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозде не висели.

Мать вышла во двор, обошла кругом избушку. Зашла в сени, зажгла фонарь. Заглянула в тёмный чулан, под навес с дровами…

Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдёрнула со стены ружьё, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор.

Следов за четыре дня было натоптано немало.

Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, чтобы Гек один мог осмелиться зайти в лес.

На дороге было пусто.

Она зарядила ружьё и выстрелила. Прислушалась, выстрелила ещё и ещё раз.

Вдруг совсем неподалёку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь.

Она хотела бежать навстречу, но её валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло, и свет погас.

С крыльца сторожки раздался пронзительный

крик Чука.

Это, услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать.

Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружьё в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошёл окутанный паром сторож.

— Что за беда? Что за стрельба? — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.

— Пропал мальчик, — сказала мать. Слёзы ливнем хлынули из её глаз, и она больше не могла сказать ни слова.

— Стой, не плачь! — гаркнул сторож. — Когда пропал? Давно? Недавно?.. Назад, Смелый! — крикнул он собаке. — Да говорите же, или я уйду обратно!

— Час тому назад, — ответила мать. — Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то ушёл.

— Ну, за час он далеко не уйдёт, а в одёже и в валенках сразу не замёрзнет… Ко мне, Смелый! На, нюхай!

Сторож сдёрнул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека.

Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.

— За мной! — распахивая дверь, сказал сторож. — Иди ищи, Смелый!

Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.

— Вперёд! — строго повторил сторож. — Ищи, Смелый, ищи!

Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.

— Это ещё что за танцы? — рассердился сторож. И, опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дёрнул её за ошейник.

Однако Смелый за сторожем не пошёл; он покрутился, повернулся и пошёл в противоположный от двери угол избы.

Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, три раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружьё в руки оторопелой матери, подошёл и открыл крышку сундука. В сундуке, на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубёнкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек.

Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая

сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дёргал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал:

— Эй-ля! Эй-ли-ля!..

Лохматый пёс Смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба.

Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет.

Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул.

Вдруг сторож встал, подошёл и брякнул на стол тяжёлый ключ и измятый голубой конверт.

— Вот, — сказал он, — получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой и письмо от начальника Серёгина. Он с людьми здесь будет через четверо суток, как раз к Новому году.

Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик! Сказал, что идёт на охоту, а сам бегал на лыжах к далёкому ущелью Алкараш.

Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку.

Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать — за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и, чуть что, хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нём заботилась, что наконец Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже.

Теперь стало весело.

На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенёс сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но всё в ней было расставлено и навалено без толку.

Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она всё переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принёс вязанку дров, то, удивлённый переменой и невиданной чистотой, он остановился и не пошёл дальше порога.

А собака Смелый пошла.

Она пошла прямо по свежевымытому полу, по-

дошла к Геку и ткнула его холодным носом. Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать.

Мать раздобрилась и кинула Смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, так это сорокам на смех.

Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал «спасибо» и ушёл, всё чему-то удивляясь и покачивая головой.

На следующий день было решено готовить к Новому году ёлку.

Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки!

Они ободрали все цветные картинки из старых журналов. Из лоскутьев и ваты понашили зверьков, кукол. Вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов.

Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их всё новые и новые затеи.

Наконец он не вытерпел. Он принёс им серебряную бумагу от завёртки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела.

Это было замечательно! И игрушечная фабрика

сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные. Но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные.

Теперь дело было за ёлкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а стал на лыжи и ушёл в лес.

Через полчаса он вернулся.

Ладно. Пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо — прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обёрнутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой ёлки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таёжная красавица — высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звёздочки.

Четыре дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди.

Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мёрзли понапрасну, потому что вся партия вернётся только к обеду.

И в самом деле. Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроём они вышли на крыльцо.

— Теперь смотрите, — сказал им сторож. — Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правей большой вершины, потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома.

Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с гружёными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. По сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчётливо видны их руки, ноги и головы.

Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу.

Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики.

Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса. А за ними, не отставая, выкатили на опушку девять лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали: «Ура!»

Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул в крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «ура» громче всех.

Днём чистились, брились и мылись.

А вечером была для всех ёлка, и все дружно встречали Новый год.

Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как, кроме Чука с Геком, остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать.

Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл весёлый танец. Тогда все повскакали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали очень прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму.

А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный, и когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и то в шкафу звенела вся посуда.

Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши.

Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню.

Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим.

Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую — я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая её, замолкли и притихли. И когда Гек

останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер.

А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.

— Теперь садитесь, — взглянув на часы, сказал отец. — Сейчас начнётся самое главное.

Он пошёл и включил радиоприёмник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо. Но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донёсся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так:

Тир-лиль-лили-дон!

Тир-лиль-лили-дон!

Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. Это в далёкой-далёкой Москве, под красной звездой, на Спасской башне, звонили золотые кремлёвские часы.

И этот звон — перед Новым годом — сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на синем море.

И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от

Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже.

И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья.

Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовётся Советской страной.